



Проза XX века

Ю Р И Й

КОЗЛОВ

Белая
вода



Юрий Вильямович Козлов

Белая вода

Серия «Проза нового века»

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66072292
Белая вода. Роман: Вече; Москва; 2021
ISBN 978-5-4484-8707-1*

Аннотация

Юрий Козлов – известный российский писатель, лауреат многих литературных премий, автор целого ряда нашумевших произведений. Сборник написанных в последние годы повестей Юрия Козлова – это попытка осмысления жизни людей, впитавших реалии новой России. «Белая вода» – искромётный взгляд на российскую власть из глубины её «часового механизма», где любовь к Родине и одновременное её предательство – сообщающиеся сосуды. Чиновник, писатель, начинающий журналист, старый диссидент «советского разлива», молодая, обладающая эзотерическими способностями авантюристка – все они ищут выход из на первый взгляд безысходного круга проблем, «окольцевавших» современную Россию. Но выход есть! Ключ к нему – в достоверной, глубокой и удивительно пронизательной прозе Юрия Козлова.

Содержание

Белая буква	4
1	4
2	60
3	81
4	115
5	127
6	144
7	156
8	167
Конец ознакомительного фрагмента.	171

Юрий Вильянович Козлов

Белая вода

Роман

Белая буква

1

О литературном русском языке размышлял, сидя поздним вечером в кафе на двадцатом этаже гостиницы «Лида», приехавший в Белоруссию на международную научно-практическую конференцию писатель Василий Объёмов. Современному состоянию русского литературного языка, ещё недавно подобно парниковой плёнке покрывавшему необозримые просторы СССР, была посвящена международная конференция. После ликвидации парника плёнка расползлась по разделённому пространству лохмотьями. Из-под них воинственно вылезали острия, лезвия и пики других языков. Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой общей речевой почвой отвратительный туман разно-, а в конечном итоге безъязычия, прорывались сквозь мутные клочья три отчётливых звука: грозное рычание, тупое мычание и трус-

ливое бление. То были три источника, три составные части доречевого и – получалось – постречевого самовыражения человеческих особей.

Объёмова удручало то, что «великий и могучий» ветшал и грязнился, как истоптанный коврик, даже там, где у него, казалось, не было для этого причин, а именно в самой России, пока ещё не отказавшейся от родного языка. И здесь его, как кроткую домохозяйку в тёмном подъезде, настигали языки-мигранты. Хищный гортанный клёкот летел из дворов, состроек, из супермаркетов, поликлиник, общественного транспорта, не говоря об автосалонах, банках, кофе-хаусах и судебных присутствиях. Русский язык стелился под ним, как заяц под крестовой орлиной тенью, не обогащался тюркско-кавказско-таджикскими заимствованиями, а, напротив, обдирался как липка, как тот самый заяц, когда беркут вонзает в него кривые жёлтые когти.

Но не только мигранты, гастарбайтеры и трусливые природные носители уродовали великий и могучий. Его накрывала, душила, держала за жабры, если уподобить язык сказочной золотой рыбке, презревшая орфографию и грамматику Сеть. Косяки пользователей плотно застревали в виртуальных ячейках уже цифровой разновидности без-, точнее *извращённоязычия*. Там тоже рычали тролли, мычали, тупо разглядывая бесконечные водопады фотографий фейсбучных стада, испуганно блеял, чуя надвигающуюся беду, офисный планктон.

Компьютерная цифра чёрной змеей жалила белую лебедь книжной буквы. Лебедь-буква рвалась в синее пушкинское небо, но не было неба в Сети, потому что Сеть сама определила себя небом. Даже в терминологии – «облака тегов», «облачный сервис», «облачный хостинг» – Сеть вызывающе и нагло копировала небо, совсем как (если верить священным книгам) грядущий Антихрист – Спасителя.

«Языки – как люди», – задумчиво смотрел в тёмное осеннее, напоминающее экран выключенного компьютера окно писатель Василий Обьёмов. Когда человек (народ) полон сил и надежд, его речь расцветает, как весенний луг. На этот луг приходят священные коровы смыслов. Вот только где (мысль, как дурной солдатик на плацу, вдруг сбилась с ноги) скрываются эти самые смыслы, неужели... в вымени? Когда человек (народ) устаёт, изнашивается, вернул мысль в строй Обьёмов, язык сохнет и колется, как сорняк. Священные коровы уходят с такого луга, брезгливо поджав вымя, пометив его навозными лепёшками.

С этого, решил он, я и начну своё выступление. Кажется, Горький, посмотрел в тёмное окно писатель Василий Обьёмов, полагал мерилom цивилизации отношение к женщине. А вот мерилom адекватности государства – мысленно он уже стоял на трибуне, строго и в то же время доброжелательно (Обьёмов был опытным лектором) вглядываясь в лица слушателей, – следует считать отношение власти к народу и языку.

Перед Объёмовым привычно обозначился неуничтожимый (и *неупиваемый*, если вспомнить дружеские посиделки после круглых столов, заседаний и обсуждений, посвящённых судьбе России) дискуссионный круг. С середины восьмидесятых, то есть уже большую часть жизни, он бегал по нему как цирковая лошадь. Когда-то – задорно вскидывая гривастую в султанах голову, сейчас – еле таская сбитые копыта.

Нечто тревожно-мистическое наличествовало в четвертьвековом (с момента распада СССР) дискурсе о судьбе России. За столько-то лет можно было бы прийти к чему-то конкретному. Своей (в смысле определения приемлемого сценария) обречённостью он напоминал дискурс о неотвратимости конца света.

Как будто некие просветлённые, но грустные исследователи наблюдали за развитием диковинного мутанта. В силу своего очевидного атавистического вырождения (а как ещё называть первоначальный, беспощадный к «малым сим», то есть к народу, капитализм?) и дьявольского уродства мутант, казалось, не имел шансов выжить. Но злобная тварь не просто выжила, а сама стала жизнью, присосалась к *природным и трудовым* (определение другого писателя – Глеба Успенского) богатствам тысячелетней России, выплюнув, как обглоданную кость, народ на голый берег. Более того, казалось, что тварь остановила само время, превратила его в клейкий – из костей народа – студень, слегка присыпанный кристал-

лами образованного сословия – *солью земли русской*. И жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха.

«Бытие определяет сознание, а деньги определяют бытие» – по такой формуле существовала страна. Но беда была в том, что у лишённого природных и трудовых богатств народа отсутствовали деньги, а потому не они, а ненависть к тем, кто их у него отнял, определяла бытие народа. Встречную ненависть мошенника к лоху, который почему-то не уходит, а топчется рядом, смотрит собачьим каким-то, ожидающим чего-то взглядом, испытывали к обобранному народу и новоявленные владельцы богатств. Но если они твёрдо определяли жизнь как деньги и, как могли (в основном уродливо и истерично), наслаждались ею, то народ всё ещё не был готов окончательно смириться с тем, что его, народа, жизнь – это *безденежное ничто* в мире, где за всё надо платить. Бытие, сознание и деньги в России, таким образом, определялись ненавистью. Правда, народная ненависть вынужденно охлаждалась, разбавлялась насущной необходимостью выживать, длить безденежное ничто. Кажущаяся пассивность, социальная *обезволенность* народа принималась властью за неисчерпаемую покорность. «Неужели и это стерпишь?» – изумлялась власть, вводя «санитарный» – на пользование унитазом – или «тротуарный» – на износ под ногами пешеходов уличной плитки – налог. «Стерплю!» – бодро, как солдат Швейк садисту-врачу на медкомиссии, отвечал народ.

Никто не знал, когда из куколки народного смирения вы-

простаётся огненная бабочка революции. Да и выпростаётся ли? Вдруг куколка навсегда окаменела? Вдруг уже растворилась в клейком студне?

Марксистская историческая наука основывалась на постулатном в плане общественного и экономического прогресса движении цивилизации – от первобытно-общинного строя к рабовладению, феодализму, капитализму, социализму и, наконец, к коммунизму как к пределу мечтаний человечества. Как должно вести себя общество, двинувшееся в обратном направлении – из социализма в капитализм, марксистская историческая наука не знала. Как раб, вдруг оказавшийся среди неандертальцев в племенной пещере? Или как клерк, узнавший, что отныне он – собственность директора конторы и тот может безнаказанно убить его, допустим, за опоздание на работу?

Какой, к чёрту, народ, какой литературный язык, расстроился Объёмов, зачем я приехал на эту конференцию? Разве только, посмотрел по сторонам, узнать, как тут у них – в *предполье* (термин ещё одного писателя – создателя теории этногенеза Льва Гумилёва) Европы – обстоят дела с народом, литературным языком, деньгами и... революцией?

Объёмов был единственным посетителем кафе, где ему был заказан устроителями конференции ужин. В данный момент он ожидал, что принесёт из неосвещённых кухонных глубин шустрая черноволосая, южно-славянского обличья буфетчица. Она успела сообщить Объёмову, что на сегодня

ему был заказан ещё и обед, но он его пропустил, поэтому, если он проголодался, ужин может быть *усилен*, она так и сказала: усилен. Прислушиваясь к звяканью тарелок и гудению СВЧ-печи, – буфетчица почему-то орудовала в кухне, не включая света, – Объёмов прикидывал, возможно ли усилить ужин (хорошо бы в счёт пропущенного обеда) двумя-тремя рюмками водки, а если нет, примет ли буфетчица российские деньги.

Дело в том, что писатель Объёмов приехал на конференцию в Лиду своим ходом – на машине – из соседней с Белоруссией деревни в Псковской области. Там он жил летом в оставшемся от родителей, неровно обложенном белым кирпичом бревенчатом доме. От деревни до границы с Белоруссией было двадцать семь километров.

Дом требовал ремонта, но Объёмов тянул, не зная, нужен ли ему вообще этот дом – с дощатым, продуваемым ветром сортиром во дворе, маловодным колодцем в крапивных зарослях, полуразвалившейся русской печью, непросыхающим, чавкающим глиной погребом? Каждый раз, вылезая из пасти погреба, Объёмов выносил на галошах (только в них или в сапогах можно было там перемещаться) по килограмму, не меньше, рыжей глины на каждой ноге. В эти мгновения ему вспоминались знаменитые слова отказавшегося эмигрировать и вскоре отправленного на гильотину деятеля Великой французской революции Дантона: «Нельзя унести Отечество на подошвах своих сапог!» Можно, мрачно возра-

жал французскому революционеру русский писатель Василий Обьёмов, ещё как можно. И ведь... сколько ещё... *Отечества* останется в погребе. На миллион сапог, не меньше.

На участке, помимо дома, имелась древняя покосившаяся – издали она напоминала чёрный параллелограмм – баня под серо-зелёным от наросшего мха и нападавших веток и елочных иголок шифером. Словно в надвинутой на лоб косматой папaxe, угрюмо высилась она на пригорке. Самое удивительное, что баня до сих пор исправно функционировала, и Обьёмов иногда парился в ней, предварительно натаскав вёдрами в бак над печью дождевой воды.

Другие участники конференции должны были сначала прибыть в Минск, а уже оттуда на автобусе переместиться в Лиду. Обьёмову показалось как-то не с руки нестись из деревни в Москву, вместе с другими членами российской делегации выдвигаться в Минск, потом снова возвращаться в Москву, а из Москвы – в деревню. Он рассудил, что из деревни проще. Эта простота сказывалась и на внешнем виде Обьёмова. Он не держал в деревенском доме приличествующей международной конференции одежды. А потому выглядел сейчас как писатель, не только победительно (или пораженчески, большой разницы тут не было) переживающий нищету, но ещё и стилистически застрявший в конце девяностых годов, когда простые граждане России ходили в необъятных, как свалившаяся на них свобода, штанах, тусклых футболках и куртках с покатыми плечами. Гадкая и со-

вершенно неуместная надпись «*Sexy boy*» украшала футболку Объёмова. Он прикрывал её полой куртки, как если бы скрывал во внутреннем кармане пистолет. Буфетчицу, впрочем, это мало беспокоило. Должно быть, в гостиничный буфет заглядывали разные посетители.

Объёмов не любил суету, полагал естественным состоянием для писателя одиночество. Вынужденные – под чужую дудку – путешествия нарушали гармонию пусть убогого, но привычного и устоявшегося бытия. Добровольные, напротив, скрашивали и разнообразили прижизненное (и, вероятно, пожизненное) ничтожество и одиночество – удел большинства русских писателей в первой половине XXI века. Словно сам Господь Бог переворачивал для успокоившегося в ничтожестве, обретшего в нём самодостаточность путешественника страницы огромной, с картинками живой книги. Чужая дудка стесняла и раздражала. Своя – божественная? – навевала иллюзию, что мир не так уж и безнадёжен, что ещё не всё потеряно, есть порох в пороховницах и песня до конца не пропета. Собственно, это и было истинной и, по мнению великого реформатора Мартина Лютера, правильной верой в Бога, потому что больше человеку не во что было верить в его стремительно пролетающей жизни.

Объёмов с удовольствием и без спешки (потому и не успел на обед, о котором, впрочем, не подозревал) проехал через всю Белоруссию, глядя на желтеющие осенние леса, ухоженные городки и посёлки, пробивающееся сквозь облака, как

сквозь тонкое рваное ватное одеяло, слабеющее солнце.

Он слышал, что у России и Белоруссии какое-то Союзное государство. Однако могуче оборудованная – в терминалах, развязках, пунктах досмотра и смотровых вышках, не хватало только собак и колючей проволоки – граница невольно наводила на мысли об *исчисленных сроках* этого государства. Пока что машины свободно сновали в обе стороны, а камуфляжные и фуражные люди по обе стороны границы занимались какими-то своими делами. Никто не проявил ни малейшего интереса к семилетнему объёмовскому «доджу-калиберу», не потребовал предъявить паспорт или приобретённую за семьсот пятьдесят рублей в одной из многочисленных приграничных будок автомобильную страховку.

Объёмов сверял маршрут с картой, уточнял путь у знающих людей на заправках, думал, как и положено в путешествии, о чём-то не сильно серьёзном и необязательном. Даже внезапный вечерний, простучавший по крыше машины ледяными пальцами град на подъезде к Лиде не смутил Объёмова, не «смазал» благостную «карту будня». Он легко отыскал гостиницу – она находилась в центре города, на берегу озера, напротив тщательно отреставрированной, как будто вчера возведённой краснокирпичной крепости с башнями, – поставил машину на платную охраняемую стоянку, отметил-ся на *reception*, отнёс сумку с вещами и книгами в незамысловатый, как честная жизнь, номер.

После чего отправился ужинать в кафе на двадцатый этаж,

где его поджидала приветливая буфетчица в вязаной кофте и обтягивающих (не по возрасту!) коротких чёрных брючках. У неё был выпирающий утюжком живот, которым она, хлопача вокруг стола, несколько раз как бы невзначай натыкалась на Объёмова. Это его не то чтобы смутило, но слегка озадачило. Он и в мыслях не держал разгладиться под этим утюжком. Ладно, выпьем водки, рассудил Объёмов, а там видно будет.

Он давно заметил, что *зрелые*, как они классифицируются в неисчерпаемых, как вещь в себе, порноглубинах интернета (а буфетчице точно было за пятьдесят), женщины часто становятся странно и на первый взгляд немотивированно экзальтированы даже в абсолютно ничего не обещающем, бытовом, можно сказать, внеполовом присутствии мужчин. На суровом и зачастую тоже внеполовом склоне лет женщины за пятьдесят лет фантазируют и мечтают, как девочки, только взбирающиеся на сияющую вершину этого опасного и скользкого склона.

Самый искренний, вдохновенный, можно сказать, поэтический, но при этом решительно никак не связанный с реальностью монолог о любви Объёмов (невольнo) услышал много лет назад в... дощатом, разделённом на две секции – «М» и «Ж» – сортире в деревне Костино Дмитровского района Московской области. В этой нечерноземной глуши он трудился летом в строительном отряде. Была такая практика в СССР – в обязательном порядке отправлять студентов после

первого курса на *стройки пятилетки*. Кому выпадал героический БАМ, железная дорога Тюмень – Сургут, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, а вот юному Объёмову выпало мешать раствор в бетономешалке при возведении трансформаторной подстанции на краю полузаброшенного, с васьмиками и жаворонками поля.

Помнится, как-то ночью он задумчиво курил, устроившись на корточках над *очком* в секции «М», смотрел сквозь широкие просветы в досках на яркие звёзды в бессмертном небе. Но тут послышались девичьи голоса, в соседней секции «Ж» ударила дверь.

«Я его люблю, люблю! Ты не представляешь, Нинка, какое это счастье – просыпаться утром и знать, что он есть. Я сразу начинаю думать о нём, что он сейчас делает, с кем разговаривает. Вижу Славкино лицо, глаза, слышу голос. Понимаешь, он как будто всё время со мной! Весь мир – это он! А когда он идёт навстречу по коридору, мне хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть, знаешь, как бухает сердце? Я... не знаю, как раньше жила, когда не знала, что живёт на свете такой человек... Славка...» «Да, Мань... – неопределённо отозвалась подруга, – а сам-то он... как?» «Не знаю, Нин, он есть, и всё, больше мне ничего не надо!»

После чего отвлечённый от созерцания звёзд Объёмов услышал мощный фыркающий шум (видать, девушки хорошо напились за ужином чая), фразу: «Чёрт, надо же, трусы перекрутились», удар двери и рассыпчатый затихающий то-

пот. Он, естественно, узнал влюблённую ночную посетительницу дощатого заведения – комсорга их группы. Знал Объёмов и «человека Славку» – мрачного, не по годам пьющего сутулого паренька в неснимаемых очках с выпуклыми стёклами. Он был удивительно молчалив и не улыбочив. Угреватое, словно посыпанное перцем, лицо его оживлялось, только когда в обеденный перерыв собирали деньги на портвейн, решали, кого послать в магазин. Славка, как пионер, был *всегда готов*, но его не посылали, потому что до магазина было километра три, а Славка ходил медленно и как-то бочком. Даже делая скидку на провинциальный (кажется, она была из Липецка) background Маши, Объёмов не представлял, как можно ослепнуть от созерцания Славки. Разве только если в солнечный день смотреть ему в очки как в увеличительные стёкла...

Неужели, он искал взглядом юркнувшую, как мышь в нору, в кухонный сумрак буфетчицу, я сейчас... выступаю в роли *Славки*?

По части выпить – точно. А вот по части любви...

Объёмов давно превратил себя в объект собственного же насмешливого наблюдения, полагая, что таким образом спасается от маразма. Больше ему по причине неизбывного одиночества наблюдать было не за кем. Интересно, есть в кухне... туалет, подумал Объёмов.

Судя по тому, что он по-прежнему был в кафе один, а освещена была только стойка бара, Объёмов сделал вывод,

что гостиница не переполнена постояльцами. Предполье Европы определённо не казалось привлекательным разного рода искателям лучшей жизни и западной толерантности.

Буфетчица вынырнула из кухонных глубин с приколотым к свитеру *бейджем* «*Каролина*». Объёмов сначала подумал, что так называется гостиница, но потом вспомнил, что гостиница называется «*Лида*». Каролиной, стало быть, звали буфетчицу. Она не возражала *усилить* ужин водкой, но за стойкой, выбирая, из какой бутылки налить в графинчик, вдруг как-то задумалась. Объёмов быстро подкрепил просьбу двумя российскими сотенными купюрами.

– Тогда я вам... от души налью, – обрадовалась буфетчица, ставя перед ним одну за другой тарелки усиленным ужином.

– Я столько не съем, – предупредил Объёмов. Похоже, невостребованные едоками в гостиничном кафе ветчинные и сырные нарезки, щедро сдобренные неестественно белым майонезом салаты, запаянные в плёнку, как в прозрачные дольки, сосиски приближались к исчерпанию срока годности.

А, собственно, что здесь такого, расправил плечи писатель Объёмов, каждый мужик хоть раз в своей жизни побывал *Славкой*, а некоторые, так... – он подумал про брачных аферистов, – много, много раз. Кто сказал, что зрелые женщины не могут влюбляться с первого взгляда? Перед глазами Объёмова замельтешили картинки из соответствующих разделов интернетовских *порнохабов*. При чём здесь это, ужас-

нулся он.

Вдруг я ей просто понравился? – оторвался от неуместных, абсолютно, как давние мечтания комсорга их группы в секции «Ж», не связанных с реальностью видений Объёмов, с отвращением посмотрел на свою дремучую – когда успела выгореть на солнце? – куртку. Предложение усилить ужин водочкой в счёт пропущенного обеда, даже с присовокуплением двухсот российских рублей вряд ли могло усилить симпатии шустрой буфетчицы к незнакомому посетителю в позорной, исключающей всякие романтические иллюзии куртке.

Но бесповоротно смириться с этой мыслью Объёмову не позволяли остатки мужского самолюбия.

Или она от меня чего-то хочет? Но чего? Я абсолютно неперспективен по всем направлениям. Разве только... включилось писательское воображение – оно почему-то неизменно работало у Объёмова в режиме изначального, на грани шизофрении недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал любых, в том числе труднообъяснимых с точки зрения здравого смысла, мерзостей, – она... хочет меня отравить. Зачем? А... в экспериментальном порядке: возможно, ей надо кого-то отравить, а на мне проверит действие яда...

Писательское воображение было весьма изобретательно, как сталинских времён следовательно в поисках доказательств несуществующего заговора. Но без него жизнь Объёмова

превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего (не только заговора, а... чего угодно), точнее существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объёмовского *несуществующего*. Но это была персональная беда Объёмова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания массового читателя, как мячики, и улетали неизвестно куда.

Бред!

Надо быть добрее и проще, вздохнул Объёмов, смутно припомнив строчки из Уолта Уитмена. *Если ты увидел человека и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?* Примерно так. Но воображение не желало отключаться, зловеще мерцало, как вышедший из повиновения, не реагирующий на кнопки компьютер. А может, так? *Если ты встретил буфетчицу и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить?*

Гарантии не было. Был закон больших чисел. В соответствии с ним подавляющее большинство буфетчиц честно (насколько это возможно в их профессии) делали своё дело, не являясь последовательницами Екатерины Медичи.

Выходило, что не столько *усиленно* ужинающий Объёмов, сколько Каролина следовала (пока что насчёт поговорить) совету великого американского поэта, о существовании ко-

торого она наверняка понятия не имела. И (скорее всего) не следовала другому (в духе Екатерины Медичи) коварному плану насчёт отравить.

Но это уже были детали.

Они показались Объёмову совершенно малозначащими после того, как он молодецки хлопнул стопку водки, закусил кисленькой (явно перегостила в уксусе) селедкой с лучком. Тут же истаяла, как будто её и не было, мысль об отравлении. Я – идиот! – привычно констатировал Объёмов. Самокритичное признание не вызывало у него никакого душевного дискомфорта.

Наливая вторую рюмку, он вознамерился пригласить к столу весело порхавшую за стойкой буфетчицу. Но не успел, потому что в кафе заглянул неопределённого возраста господин с широкой, но короткой бородой, напоминающей истрёпанную щётку на деревянной ручке, которую он как будто недовольно держал в зубах. Тоже на конференцию, – дружелюбно (он и ему был готов предложить выпить) посмотрел на господина Объёмов, отметив братскую потёртость его плаща и непрезентабельность ботинок на толстой подошве. Но тот, мазнув злым взглядом по столу, сухо сглотнул, дёрнув рубильником кадыка на горле, и вышел из кафе, чуть сильнее, чем требовалось, захлопнув за собой дверь. Молодец, завязал, вздохнул Объёмов, а я вот никак...

После второй рюмки буфетчица и вовсе предстала грациозной, доброжелательной бабочкой, почти что ангелом, сни-

зошедшим с небес по его грешную душу.

Это было необъяснимо, но Объёмов уже не возражал быть отравленным. Только... без мучений. По *эвтаназийному*, так сказать, варианту. Иногда собственная жизнь казалась ему исключительной ценностью, и он был готов защищать её всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Иногда же, например, как в данный момент, после двух рюмок водки в городе, где он никогда прежде не был, в обществе дамы, которую никогда прежде не видел, он был готов легко расстаться с жизнью. Объёмов сам не вполне понимал столь резких перепадов в своём отношении к священному и бесценному дару Божьему. Должно быть, его измученное, генерирующее не нужные массовому читателю смыслы и образы, сознание определялось ещё чем-то, помимо бытия. Быть может, такой вот внезапно-пронзительной (или пронзающей) алкогольной ясностью. Мир как будто ужимался в точку, а безмерно заострившаяся мысль Объёмова упиралась в эту точку, как копьё. Однако же, упёршись в истину (во что же ещё?), копьё всякий раз её калечило, превращало в какого-то жалкого уродца, от которого брезгливо отворачивались нормальные люди. Массовый читатель, чьей любви Объёмов алкал, вдруг увиделся ему в образе того самого Славки, в которого безнадёжно была влюблена комсорг Маша в деревне Костино. Объёмов мучительно вглядывался в угреватое, тупое, в выпуклых очках лицо массового читателя, и ненависть слепила его, потому что он понимал – ничто не заставит это

существо взять в руки его, писателя Василия Обьёмова, книгу. Славка никогда не полюбит Машу.

Копьё в очередной раз сразило истину. Вместе с ней в бубновое (прихоть плотника) очко дощатого сортира с шумным фырканием устремились мечты Обьёмова.

Вслушиваясь в льющуюся, как... вода из крана (возвысил над бубновым очком сравнение Обьёмов), речь буфетчицы, он подумал, что жизнь, в сущности, прожита. Он написал всё, что хотел, точнее, что смог. *Славы* (Обьёмов не уставал изумляться величию и могуществу русского языка, играючи отвечающему на все задаваемые и не задаваемые вопросы) не было и не будет. Впереди то же, что и сейчас: одиночество, болезни, безденежье и тоска. А ещё – изумление перед непреходящей лживостью и мерзостью мира, от которого он тем не менее ждал признания, потому что признание являлось одним из условий существования пишущего человека как неотъемлемой, но почти всегда отпавшей частицы словесного стада.

Но признания быть не могло. Словесное стадо двигалось динозавровым путём к *концу времён*, подсвечивая дорогу светящимся маячком айфона. Оно решительно не замечало путающегося под ногами писателя Василия Обьёмова. Ледокольного, чтобы взломать мир, вывести человечество на *чистую воду*, таланта Господь ему не дал. Таким преобразившим мир талантом обладал Сын Божий, даровавший людям прощение и жизнь вечную. Тоже ледокольным, но внут-

ри другого – земного – измерения талантом обладал Сталин, преобразивший Россию наказанием. Как иначе можно расценивать многотысячные лимиты на выявление и уничтожение врагов народа, спускавшиеся в конце тридцатых годов из центра на места? Злые семена падали на подготовленную почву. От местных агрономов потоком шли требования увеличить квоты. А что если, – привычно травмировал истину копьём Объёмов, – это и есть... высшая справедливость? Сказано же одним из апостолов: *нет наказания без преступления!*

Вот почему, успокоился Объёмов, литературе не дано перевернуть мир. Ей дано выродиться. Путь её – от жгущего сердца людей глагола к веселящему зажавшегося обывателя-потребителя комиксу. Но я, – гордо расправил плечи над столом с закуской и остатками водки в графинчике, – отказываюсь следовать этим путём! Господь дал мне талант тихий, лепечущий, носимый ветром над неясными смыслами, – одним словом, не замечаемый миром талант. Я могу писать что угодно, но в вакууме, в тёмной душной пустоте – там, где слова и мысли складываются, как тюки войлока до лучших (или худших) времён. Скрывая меня в безвестности и ничтожестве, – Объёмов ощутил размягчающее, предшествующее слезам тепло в глазах, – Господь простирает надо мной берегающую руку, которую я, как вздорная собачонка, пытаюсь... тяпнуть. Что же мне остаётся? – тупо упёрся он взглядом в графинчик. Недостойная возраста суета, гневные ста-

тьи на полуживых оппозиционных сайтах, редкие поездки по зачищаемому от русского языка некогда общему литературному пространству. Когда не находится (Объёмов отдавал себе в этом отчёт) более именитых и известных авторов. Или когда эти авторы ставят условия, какие организаторы мероприятия не могут выполнить. Не имеющее исхода ощущение проигрыша, мрачно подвёл он итог тому, что остаётся. Страх даже не перед своим, а коллективным – вместе со словесным стадом – будущим, перед неотменимой катастрофой, от которой не убежать, не спрятаться, потому что она по душу и тело каждого. А там... за *точкой*, – заинтересованно смерил уровень водки в графинчике, – благословенная тишина, покой, абсолютное, то есть неподвластное времени и вирусам *вечное здоровье* в земле или в урне с пеплом, исчезновение всех мыслимых и немыслимых тревог, предчувствий, рвущих душу и сердце переживаний, а главное – упоительная *свобода* от собственной принадлежности-отъединённости к (от) словесно-телесному(го) стаду(а). Там то, что выше и первичнее... всего, что было до моего прихода в мир и пребудет в нём после. *Великое отсутствие* – так Объёмов определил извилисто, как дождевая капля по стеклу, скользкую, но никогда ни от кого (и чего) не ускользающую точку. А вот водочка, с грустью посмотрел на графин, ускользает, ещё как ускользает...

Объёмову стоило немалых трудов преодолеть магнитное, точнее вселенско-гравитационное притяжение *точки*, вер-

нуться в реальность, вникнуть в то, что говорила буфетчица.

Она сыпала слова, как крупу в сухую кастрюлю, говорила на русском, но каком-то особенном, как бы уже и не вполне русском языке. Это был упрощённо-технический язык-передвижник, язык-переселенец, язык-*выживало*, помыкавший в новых государствах, ободранный недружественными границами, обтёртый пластиковыми сумками с барахлом и продуктами, сточенный в оптово-ярмарочных, автобусных, вокзальных, таможенных, полицейско-миграционных и прочих «тёрках». Но он ещё хранил фантомную память о советских школьных уроках литературы, прочитанных отрывках из хрестоматии, заученных в далёкие пионерские годы стихотворениях. Он давно шёл (куда?) своей дорогой, но ещё тянул за собой исчезающую тень СССР, где все были хоть и скромно, но равно обихожены государством и никому (разве только носителям пресловутого пятого пункта) не были закрыты пути вперёд, а если удачно сложится, то и наверх.

...Вдова офицера-лётчика. Шестнадцать лет назад – уже при *Батьке* – муж разбился на истребителе. Только-только присвоили майора. Второму пилоту приказал катапультироваться, а сам до последнего пытался спасти машину. Самолёт упал на поле с подсолнухами, никто внизу не пострадал. А мужа... не нашли, как и не было его в кабине. Сказали, – всхлипнула, – он, как это... аннигилировался, то есть бесследно испарился. Манекен из магазина одели в форму, на

лицо положили фотографию в рамке, похоронили с почестями. Ольга Ильинична – наша клубная библиотечка – нагнулась, чтобы фотографию поцеловать, да как-то неловко, сбила, а там манекенная морда с кретинской такой подленькой улыбочкой, словно что-то знает, но никому не скажет. Какая-то в том полёте испытывалась секретная, биогравитационная, что ли, установка. От СССР осталась, не успели в Россию увезти. Ну а наши взялись испытывать. Вроде бы самолёт должен был сделаться невидимым и перенестись через время и пространство, куда намечено. Она была запрограммирована на самоуничтожение, если что. Вот мой Лёшка и... самоуничтожился. Ещё подписку о неразглашении взяли, сволочи!

Объёмову как-то некстати припомнились рассказы о похищении Гагарина инопланетянами, телепередачи о неопознанных летающих объектах. Буфетчица, похоже, входила в состояние психоза, как в древнегреческую реку, в которую якобы нельзя войти дважды. В реку – нет, а в психоз – сколько угодно. Человеческая жизнь вдруг увиделась писателю Василию Объёмову в виде коридора, по бокам которого в разные стороны приглашающе вращались винтовые ушастые двери. Люди шмыгали в них, как мыши. Некоторые, прокрутившись в этих дверях, возвращались, ошалевшие, в коридор, а некоторые исчезали... где?

...Представили посмертно к Герою республики, продолжила буфетчица, не позволяя Объёмову однозначно опреде-

лить, где она – в коридоре или в пространстве за винтовыми ушастыми дверями, но дали только орден Мужества. Здесь, под Лидой, самая современная советская авиабаза. К каждой взлётно-посадочной полосе подведён под бетоном топливный терминал, чтобы сразу всем взлетать без задержки. Такого нигде в СССР, да и в Европе не было. До НАТО за десять минут могли долететь. Говорят, Путин сейчас просит у Батки в аренду, а тот упирается, потому что Европа не разрешает. Сказали, санкции снимут и визы для белорусов отменят, если Батка откажет. А по мне, так лучше бы пустил, скольким людям нашлась бы работа. Тут и запчасти делали в мастерских по ремонту, и своё хозяйство со свинофермой имелось. Раньше вокруг жизнь была, а теперь только два предприятия работают – лакокрасочный завод и комбинат химудобрений. База пустая стоит, пока охраняется, а офицерский городок разобрали на блоки в конце девяностых. Теперь там лес, грибов много. С грибами ведь как? Год на год не приходится, а там всегда. Подосиновики, белые, а по осени рыжики. Она и солит, и маринует, только есть некому...

– Хотите, завтра принесу? – предложила буфетчица. – Вы ведь здесь будете обедать?

– Не знаю, – пожал плечами Объёмов. – Я ещё не смотрел программу.

– Принесу, – как о деле решённом сказала буфетчица, – и с собой дам банку, куда мне их девать?

– Всегда есть куда. Родственникам, детям, – посоветовал
Объёмов.

...А она одна здесь живёт. Дочь в Одессе, у неё семья, своя жизнь, работала в фирме по установке домофонов, недавно сократили. Зять – водила, упёртый хохол, и раньше злой был на москалей и *жидив*, а после Крыма совсем озверел. Живут плохо, на четверых – у них двое детей – меньше семи тысяч гривен выходит. Если бы он курятину из фур ящиками не таскал, вообще бы голодали. Она здесь, в Лиде, через день работает – и то получает почти четыре тысячи. Хотя там у них всё дешевле, а здесь уже почти как в Европе. До Польши час езды, Литва вообще под боком. Народ туда-сюда снуёт. Бензин, правда, в Белоруссии дешевле, но его только две канистры разрешают, хорошо, если на обратную дорогу хватит, не по два же евро за литр брать.

В речь буфетчицы, как цветная тесьма в косу, вплетались белорусские и украинские слова. Объёмов обратил внимание, что она, хоть и живёт в Белоруссии, почему-то оценивает уровень достатка окружающих в гривнах и долларах, а не в белорусских или российских рублях.

...Последний раз к дочери и не заезжала. Сразу в Умань, там дом, где она жила в детстве. Раньше деревня была, гуси траву щипали, везде цветы, а теперь городская окраина – ни цветов, ни гусей. Мать и отец померли, а дед живой, восемьдесят пять, в разуме, не болеет, сам о себе заботится. В магазин ходит, баню топит, две теплицы держит на огороде.

Руки – золотые, всю работу по дому делает. Следит за собой – бороду подстригает, волосы из носа, чтобы как клыки не торчали, дѣргает, пятки напильником трѣт, потом весь пол белый, как в муке. У него две пенсии – от хохлов тысяча триста гривен и ещё от немцев двести пятьдесят евро – за то, что работал в оккупацию на их продуктовом складе, а потом в нашем лагере сидел. Она в этом году почти всё лето у него жила. Дед – молодец! До сих пор курит, самогон пьѣт, книги читает. Телевизор вообще не смотрит, не держит дома телевизор. Раньше смотрел, а однажды вынес в огород и... из ружья прямо в экран. Участковый приходил: чего, дед, хулиганишь? А он: лучше так, чем по-настоящему, пусть эти, которые там мордами светят, живут, а телевизор не жалко. Она хотела новый – плоский – купить, скучно вечером, он не разрешил. Сказал, лучше книги читай. А она от книг давно отвыкла. Какие книги, когда такая жизнь? К новым не подступишься, самые дешѣвые – как бутылка водки, а старые – про людей, каких уже нет. Может, только этот, который топором старуху зарубил, остался и... размножился. Каждый второй сейчас такой – зарубит и не чихнѣт. Дед как мужик, наверное, ещё... способен. Ходит одна к нему, шестьдесят пять, худенькая такая, чистенькая, губки в ленточку, носик остренький, в очочках, в школе завучем работает... Никак на пенсию не выпрут, некому в районе детишек учить. Якобы за старыми журналами, у деда в подвале подшивки «Роман-газеты», когда-то выписывал. Лохматые такие, когда на-

воднение было, подвал подтопило. Просушил, не выбросил. Я ему: дед, я тебе не сторож, только не вздумай этой указке ничего отписывать, убью! Она к тебе не за журналами ходит! В них мыши туннели прогрызли, хоть метро запускай! У нас чернозёма сорок соток! Евро он тоже не тратит, копит на счёте. К нему летом немецкие журналисты приезжали, на камеру снимали, он последний остался в Умани, кто видел Гитлера, когда тот в августе сорок первого по рынку ходил. Ещё Муссолини был, но тот помалкивал: видать, чуял беду. Дед и его запомнил: глаза как черносливы, лобастый, губастый, как бык, челюсть лоханью.

– Какой ещё... лоханью? – с трудом выпутался из липкой словесной паутины Объёмов.

– Какой-какой, – недовольно пробурчала буфетчица. – В какой новорожденных поросят купают!

– А их... разве купают? – растерянно спросил Объёмов.

– У нас нет, – отрезала буфетчица, – немцы привезли, приказ на ферме вывесили, за грязных поросят расстрел!

– Это... Гитлер на рынке объявил?

Некоторое даже противоестественное уважение к фюреру немецкого народа, мгновенно ухватившему *быка за рога*, с математической точностью вычислившему формулу приобщения неарийского населения на занятых вермахтом территориях к традициям европейского животноводства ощутил писатель Василий Объёмов. И только потом до него дошло, что буфетчица порет дикую чушь.

– Какой Гитлер? Какой рынок? Что он там делал?

– Ходил, смотрел, с народом общался. Дед сказал, что переводчик переводил, высокий такой, чуб из-под фуражки, как пена, и с царским Георгиевским крестом на кителе, – дед определил, потому что его отец в первую германскую воевал, у них два таких же в красивой коробке из-под царских ещё конфет вместе с документами лежали. «Русалка» назывались, я в эту коробку свою любимую куклу Бусю спать укладывала, думала, что ночью русалка со дна морского конфеты пришлёт и хоть Буся их попробует. Наверное, из казачков-белогвардейцев был переводчик. Но дед и без переводчика всё понимал, у него в школе учительница была из колонисток, её сразу, как война началась, наши арестовали. Операторы на аэродром умчались, где «юнкерс» ждал, генералы под крылом выстроились. А Гитлер увидел людей на площади, велел остановиться, прошёл по рядам, посмотрел, чем торгуют. Подсолнухи его заинтересовали, там одна баба огромные, как тазы, подсолнухи, – в тот год урожай был бешеный, никогда больше такого не было, – меняла на сахар. Советские деньги уже не ходили, немецких ещё не было, а румынские люди брать не решались, не знали, что это за деньги такие. А дед, ему тогда десять лет было, на мешках сидел. Баба, когда в туалет приспичило, туда его посадила, чтобы вроде как присмотр был. Волосы светленькие, глаза голубые, любопытные, смущённый, наверное, был парнишка. Она Гитлеру сразу мешок хотела с перепугу всучить, но

тот не взял, сказал только, что никогда таких больших не видел. Здесь земля, переводчик перевёл, как музыка Вагнера. Потом Гитлер деда на мешках приметил, потрепал по голове, сказал: запомни, пацанчик, этот день. Долго будешь жить, увидишь новый мир, за который мы сражаемся, вспомнишь меня. Как в воду смотрел, – задумчиво добавила буфетчица.

– В какую... воду? – запнулся Объёмов.

– Я про новый мир, – хлопнула глазами буфетчица, – который сейчас.

– За этот мир Гитлер не сражался, – возразил Объёмов. – Он бы точно ему не понравился.

– А что дед будет жить долго, угадал, – быстро нашлась буфетчица. Похоже, она не сомневалась, что любые произнесённые слова автоматически (на лету) наполняются смыслом, а поэтому не имеет большого значения, какие именно слова вылетают у неё из рта.

– Тут не поспоришь, – развёл руками Объёмов. Он вдруг засомневался в существовании уманского деда. Частицей ландшафта стремительно меняющегося мира показался Объёмову загадочный дед. Белоруссия – уже не Россия, а наследница Великого Литовского княжества, той самой *белой* (европейской) Руси, которую кроваво и тупо задавила Русь *чёрная*, московская, татаро-монгольская и угро-финская. Украина – «ревёт и стонет» от ненависти к России. Европа – в маразме, мигрантах, толерантности и отказе от христианской веры. А Гитлер... Гитлер, конечно, душегуб, зло-

дей, *преступник номер один*, как справедливо указывали советские историки, но ведь и к нему сейчас отношение меняется... В Прибалтике, например, или на той же Украине... И про Румынию он что-то такое читал. Уманский дед, подумал писатель Василий Обьёмов, сродни тыняновскому поручику Киже, товарищу Огилви из «1984» Оруэлла. Эти персонажи – не из текущей жизни. Они – фантомы жизни новой и страшной, которая в данный исторический момент замещает привычную текущую, давит и месит её, как скульптор глину. Но не стал делиться с Каролиной сложной и спорной мыслью. – Ленин тоже, – почти весело подмигнул ей Обьёмов, – в воду смотрел, а что видел?

– Что? – растерялась буфетная дама.

– Коммунизм! – назидательно произнёс Обьёмов. – А где он?

– Где? – Она, как изваяние, замерла над его головой с пустой тарелкой в руке.

– Там же, где и тот мир, за который сражался Гитлер, – многозначительно понизил голос Обьёмов. – Нигде и... везде! – осторожно увёл голову из-под летающей тарелки.

– В Умани возле кино «Салют» стоял памятник Ленину, – легко, как чёрная бабочка, перелетела с Гитлера на вождя мирового пролетариата буфетчица. – Сломали. Только нога в штанине, как кочерга, осталась торчать. Ботинок в жёлтый потом покрасили, а штанину – в голубой. Голову лысую в парк, в павильон ужасов, откатали.

– Не повезло Ильичу. – Объёмову вдруг сделалось как-то тревожно. Как и всегда, когда он слышал то, что не хотел слышать, или был вынужден говорить о том, о чём не хотел говорить, но о чём постоянно и безытогово думал. Такой пока отсутствующий в русском языке, но мощно присутствующий в русской жизни термин тут был уместен. – И Гитлеру тоже.

Зачем я это сказал, расстроился Объёмов, почему я всё время об этом думаю, с кем... вообще... разговариваю? Наверное, так было в сталинском *тридцать седьмом*. Люди не смели говорить о необъяснимых репрессиях, но о чём бы они ни говорили, они *по умолчанию* говорили о них. Ему вспомнился школьный физический опыт, когда на электропроницаемую пластинку сыпали железную пыль. Её можно было сыпать как угодно, но когда пропускали ток, пыль мгновенно укладывалась в один и тот же, напоминающий совиную морду рисунок.

Казалось бы, ничто (кроме алкоголя) не могло (ментально) сблизить русского писателя Василия Объёмова и неизвестной национальности буфетную даму по имени Каролина. Но дама была абсолютно трезва, да и Объёмов выпил пока что весьма умеренно. Стало быть, не алкоголь, а невидимое напряжение нового (совино?) мира необъяснимо воздействовало на *пыль* произносимых Объёмовым и Каролиной слов. Совиная морда угрюмо смотрела на них с электропроницаемой пластинки нового мира.

Объёмов допускал, что Гитлер превратился в миф, что он, как и Сталин, по мнению генерала де Голля, *не умер, а растворился в будущем*. Хотя Объёмов сильно сомневался, что де Голль это говорил. Сомневался он и в истинности знаменитого, как будто списанного из монолога Петра Верховенского в романе «Бесы» Достоевского, *плана Даллеса* по поэтапному уничтожению России. Или (в преддверии выборов) цитируемого на застеклённых уличных стендах умозаключения Бисмарка, что Россию одолеть военным путём невозможно, победить её сможет только *внутренний враг*. Даже если Бисмарк ничего подобного не произносил, в данном изречении, по мнению Объёмова, заключался глубокий конспирологический смысл. Потенциальному избирателю предоставлялся шанс самостоятельно определить – не сам ли этот внутренний враг победительно и не таясь декларирует свои намерения, принимая потенциального избирателя за законченного идиота? Гораздо большее доверие у Объёмова вызывала другая (подтверждённая) цитата «железного канцлера»: «*Россия опасна мизерностью своих потребностей*». «По воле управляющего ею внутреннего врага», – творчески дополнял цитату Объёмов.

Но всё равно, странно было рассуждать на эту тему с мало сведущей в историко-политологических изысканиях буфетчицей в независимой Белоруссии спустя без малого век после смерти фюрера немецкого народа, истребившего в этой самой Белоруссии, кажется, треть населения.

А может, очень даже не странно, подумал Объёмов. Миф обретает необходимую для преобразования действительности динамику именно тогда, когда спускается с выморочных научных высот в пышущую живой глупостью и жизненной силой толщу масс. Они или реагируют на него, начинают, как брага, пузыриться и бродить, чтобы затем взметнуться в революционно-военный (это неизбежно) змеевик и сседиться по капле в новом качестве в подставленную посуду, или отвергают, точнее не вступают в реакцию, оставаясь в первозданной, с библейских времён определённой как труд и повинование, управляемой тишине. Временно не востребованные массами мифы, подобно штаммам бактерий, рассеиваются в книгах и среди безразмерных пространств интернета, заражая умы отдельных отщепенцев. Они – везде и нигде.

Объёмову не нравилось будущее, где растворённые Гитлер и Сталин были готовы материализоваться подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе. В нестихающих диспутах о судьбе России Гитлер был тёмным, как ночь, как дым из концлагерной трубы, кристаллом, а Сталин незаметно, но упорно напивался белокрылым ангельским светом. Объёмов сам видел в одной кладбищенской часовне икону с «отцом народов». Генералиссимус, втоптавший церковь в пыль так, что она до сих пор не могла отряхнуться, кощунственно стоял в длинной до пят шинели, как митрополит в рясе, рядом с Богородицею, угрюмо уставившись на оробевшего Младенца Христа. Наверное, внутри соляного

раствора в очереди на кристаллизацию скрывался и Ленин. В данный момент Ильич пропускал вперёд Гитлера и Сталина, но это была очередь без порядковых номеров. Фюрер и «отец народов» были понятны и (каждый в своё время) бесконечно любимы массами, в то время как Ленин... Способны ли вообще массы, то есть *малые сии*, без понуждения понимать и любить человека с собранием *нехудожественных* сочинений в пятьдесят четыре тома? Даже если этот странный человек задался неисполнимой целью превратить малых сих в больших? Сделать того, кто был никем – всем. Новый (совиный) мир стремился к простым, как смерть, в духе Гитлера и Сталина, решениям, а потому Ленин с его беспокойными мыслями об электрификации, коммунизме, отмирающем государстве, главное же – о том, что делать и кто виноват, был сове, как говорится, мимо клюва.

Но как-то эти три кристалла таинственно взаимодействовали, возможно, предуготовливая раствор к переходу в новое, не известное человечеству качество. Объёмов склонялся к мысли, что это будет всерастворяющая существующий мир кислота. Призрачная кристально-кислотная совиная тройка пронеслась, шелестя крыльями, перед его испуганным взором и растворилась в тёмных заоконных белорусских небесах. В ночи и в водке, наполнил очередную рюмку Объёмов.

Всё-таки не молдаванка и точно не белоруска, подумал он, закусывая белой от уксуса селёдкой, про взявшуюся проти-

рать за стойкой салфеткой пивные стаканы буфетчицу. Точно – украинка. Наверное, из Галиции, там много Каролин. За такие воспоминания её бы зацеловали на Майдане. Сколько, она говорила, было годков в сорок первом мифическому деду, десять? Ему бы в пионеры-герои, а он – под юбку к бабе, меняющей подсолнухи на сахар. Где он всю войну работал – на немецком продуктовом складе? Значит, не голодал! И силушку сберёг, если к нему очкастенькая завуч – губки в ленточку – бегают, и пенсию от Меркель получает! Парень не промах! А что телевизор в огороде расстрелял и подшивки «Роман-газеты» хранит – это... правильно, наш человек, как-то сбился с мысли Обьёмов.

– Дед с немцами, которые фильм снимали, по Умани ходил, показывал место, где стояла баба с подсолнухами. Там сейчас бензоколонка. Они ему пятьсот евро заплатили.

– Мало! – возмутился Обьёмов. – Кто живого Гитлера видел – по пальцам пересчитать, сколько их осталось? – Обьёмов вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды и не через вторые руки, как сейчас, а напрямую общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему своё общество.

Зачем?

Писателю Василию Обьёмову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа, выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут.

Они отрастали вполне естественно, как у ящерицы, в со-

ответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как и сам возрождающийся миф, ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он (если) открывался в виде *голого короля в новом формате*. Этого короля окружающие изначально полагали голым и, следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве, а потому – в упор не видели. Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов Объёму доводилось читать немецкие листовки времён Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если кто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, то ему гарантируется гуманное отношение, а если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, то ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу Тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками в плен советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же как и тех, кто сдался без листовок. Голый король не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто – одетым, а кто вообще его не видел. Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной, кругами ходил, облизываясь, новый мир.

Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе.

Сейчас, не существуя, он составлял другие адресные листовки.

На немецком языке: немцы не хотели войны, их втянули в неё, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными *меньшинствами*, чтобы немцы навсегда забыли про *триумф воли*. И вообще, они хотели добра, но Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей.

На всемирном, как некогда латынь, английском: Гитлер был хорош, потому что, проиграв войну, на долгие годы (во всех смыслах) опустил Германию, превратил в дойную корову для новой – объединённой, толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был плох, потому что перед тем, как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР.

На русском: Сталину нет и не может быть прощения за то, что он сделал СССР великим и могучим, оснастил ядерным оружием, добился того, что никакая *свинья* не могла просунуть *рыло* в его *социалистический огород*. Но войну выиграл не Сталин как главнокомандующий и не русский, а обобщённый, проживавший на территории тогдашнего СССР советский народ. За что теперешний – опять же обобщённый, но уже российский – народ ему благодарен не меньше, чем за разрушение проклятого СССР. А больше ни за что не благодарен, потому что всё остальное – рабство и позор!

– А потом он посмотрел в небо на самолёты, которые ле-

тели над Уманью бомбить Киев. – Буфетчица подошла к столу, поправила в металлическом держателе красные, свесившиеся набок, как петушиный гребень, салфетки. – И... Но это... – приложила палец к губам, – тайна!

– Кто? – Объёмов вдруг ясно осознал, что перед ним сумасшедшая, причём опасно сумасшедшая. С подобных, подумал он, ложных социально-исторических синдромов и начинаются революции. Они – невидимо горящие под ногами торфяники. Всё спокойно, но вдруг почва проваливается и привычная жизнь летит в огненную про(пасть). Но чтобы в России, ладно, пусть не в России, а в Белоруссии, которая ещё недавно была Россией, буфетчицы вели с клиентами беседы о Гитлере...

Надо сматываться.

Но в графинчике ещё оставалась водка, а буфетчица, хоть и поблескивала нехорошо глазами, пока не проявляла агрессивности. Интересно, подумал Объёмов, если я не буду уточнять, что сказал Гитлер, она... разъярится или, наоборот, сникнет?

Не угадал.

Буфетчица, качнув затянутыми в чёрные штаны бёдрами, как сдвоенным маятником, скрылась на кухне, напевая себе под нос. До Объёмова донеслись слова «ридна», «кохана» и, кажется, «дивчина».

Наверное, это я сумасшедший! Он схватил графинчик за длинное горлышко, решительно – до последней капли – вы-

лил водку в рюмку. Какое мне дело, что сказал в Умани Гитлер, если я точно знаю, что это бред! Не мог он ходить по рынку, прицениваться к подсолнухам! Объёмов ни к селу ни к городу припомнил, что Гитлер вроде бы сносно знал французский язык и будто бы даже одна девушка во Франции родила от него сына, которого Гитлер, правда, так и не увидел, потому что в восемнадцатом году немецкие войска покинули Францию... Странно, что потом, когда они туда в сороковом году триумфально вернулись, недоказанный сын никак себя не обозначил, хотя, казалось бы... А что, если и в Умани... ходил-ходил по рынку, а потом шасть к подсолнуховой бабе... Графинчик в руке Объёмова играл на свету, искрился рубчатыми боками. Как граната, усмехнулся про себя Объёмов, особенно если взять да бросить его в стену. Он не сомневался, что летали, летали в этом заведении графинчики, хорошо, если в стены, а не в пьяные хари, не могли не летать. *«Гитлер в Умани»* – отличное название для пьесы, всё действие – на рынке среди лотков с продовольственным ассортиментом военного времени, со свинными, бычьими и бараньими (образы народов) головами на прилавках. С жужжащими то тихо, то нестерпимо мухами в виде маленьких черепов со скрещенными костями – лазерными точками по всей сцене, чтобы у зрителей кружилась голова. Четыре персонажа: Гитлер, переводчик из белых казаков, баба с подсолнухами, мальчишка, научившийся от колонистов немецкому языку... Каждый про своё. Гитлер – про новый арий-

ский мировой порядок. Казак-переводчик – про великую и неделимую Россию. Баба – про мужа, детей, коллективизацию и *голодомор*. Мальчишка – про... что? Про Украину, так сказать, сердцем воспринявшую спустя семьдесят лет... Нет, это в лоб, примитивно. Тогда про свою будущую жизнь после *Великой Победы*, про конец СССР, про эту... в очочках, у которой губки ленточкой, про то, что у него всё ещё *встаёт*, про немцев, которые приедут в Умань через семьдесят лет снимать фильм о... тебе, Гитлер! А в финале – короткие монологи голов (народов), что есть война, революция, человеческая жизнь и идеология. Хор подсолнухов, как у древних греков: воля богов, *мимесис*, рок, фатум, судьба! Но кто поставит, какой театр возьмёт? Сволочи!

– Что сказал Гитлер? – грозно спросил в кухонное пространство Объёмов, потрясённый величиим внезапного драматургического замысла. Он был похож на взметнувший посреди пустоши дворец с башнями, мансардами и висячими садами Семирамиды. В моменты мгновенной ослепительной жизни таких замыслов Объёмов обретал мгновенную же уверенность в себе.

– Он сказал: «Es ist noch zu früh», – донеслось до него сквозь шум туго бьющей в металлическую раковину струи воды.

– Ещё... рано? – мобилизовав всё своё случайное знание, точнее *незнание* немецкого языка, неуверенно перевёл Объёмов.

– Ja, genau so, – подтвердила буфетчица.

– А ты... откуда знаешь немецкий? – растерялся Объёмов.

– За два-то года, пока драила сортиры в Лейпциге, – усмехнулась она, – научилась. Я, кстати, в Ильичёвске пищевой техникум с отличием окончила! Три года по распределению на сухогрузах при пищеблоках плавала. Так что... можем.

– Рано... что он имел в виду?

– Понятия не имею, – сухо, без прежней доброжелательности, скрипуче, как если бы двигала по полу стол, ответила Каролина. – Он не уточнил. За что купила, за то и продаю. Он долго в небо смотрел. Может, что самолёты рано полетели, а может, что-то, – добавила совсем мрачно, – услышал сверху, понял, что поспешил.

– Но людей не насмешил. Спасибо! Было очень вкусно, – выпил «на посошок», выхватил из петушиного в железном держателе гребня красную салфетку, вытер привычно скривившиеся губы Объёмов. – Пойду к себе. Я точно вам ничего не должен? – Он снова перешёл с ней на безличное «вы». Наметившаяся между ними *уитменовская* близость разлетелась на кусочки, как если бы была тем самым, пущенным в стену пьяной рукой графинчиком. Морской (три года на сухогрузах), сухопутный (сортиры в Лейпциге), воздушный (вдова пилота) – трёхстихийный – background буфетчицы придавил Объёмова, лишил комфортного ощущения собственного интеллектуального превосходства. Я что-

то выдумываю, мучаюсь, вздохнул он, а бестселлеры... Они, как жизнь, везде. Пусть даже это странная жизнь после смерти, как сейчас в этой... Умани. Нет жизни – нет бестселлеров! Но разве не имеет права на существование мой бестселлер об исчезновении жизни? Я всю свою жизнь сочиняю исчезающий бестселлер, но, похоже, жизнь моя исчезнет раньше, чем он будет написан.

– На боковую? – Буфетчица вышла из кухни, зигзагом обогнула стойку, остановилась, блестя чёрными вороньими глазами, у стола, из-за которого только что поднялся Объёмов. Что ей Гитлер, с неожиданной тоской подумал Объёмов, да её бы... в первый же день с такой-то внешностью в ближайший концлагерь! Хотя Одессу, кажется, держали румыны.

– Не знаю... – Он зачем-то посмотрел на часы, но без очков не разглядел, который час. Стрелки как будто растворились в неясном, как исчезающая в тумане жизнь, циферблате. – Я бы прогулялся по городу, но дождь...

– В дождь хорошо спится. – Она начала собирать на поднос пустые и не пустые тарелки. Объёмов так и не прикоснулся к вздыбленному бордовому винегрету и к куриному рулету в желе, как в жёлтом увеличительном стекле. – Я сама после девяти только и думаю, как доползти до кровати... – Буфетчица произвольно зевнула, едва успев прикрыть рот рукой.

– Да? – ответно и тоже произвольно зевнул Объёмов.

Дарвин прав, успел подумать он, щёлкнув челюстью, – человек точно произошёл от обезьяны. Он понимал, что надо уходить, но почему-то медлил, более того, мелькнула мысляшка, а не махануть ли ещё на сон грядущий водочки? Как она сказала: в дождь хорошо спится? Спится или *спиться*? Какая, в сущности, разница? – Устаёте на работе? – с неискренним участием поинтересовался он.

– Совсем не устаю. Какая тут работа? Через день, посетителей мало. Сегодня вообще вы один. Не в этом дело.

– А в чём?

– В том, что спать интереснее, чем жить.

– Как это? – Объёмов чуть было не уточнил: «С Гитлером?» Но сдержался. Он с юных лет исповедовал принцип: если не знаешь, как отреагирует собеседник, лучше молчи. Это спасало от многих возможных неприятностей. Хотя и не всегда. Молчание было свободно (в любую сторону) конвертируемой валютой.

– А вот так, – ответила буфетчица. – Во сне я... живая, где-то хожу, что-то вижу, встречаюсь с разными людьми. То в Одессе, то в Витебске, то вообще... – вздохнув, посмотрела на нетронутые тарелки с винегретом и затаившимся в дрожащем янтаре куриным рулетом, – в Париже, – призналась почему-то шёпотом. – Я там, кстати, не была. Хотела из Германии на автобусе съездить, не получилось. Шапирюзу – мою напарницу, мы тогда в Лейпциге, в парке Белантис, где египетская пирамида, работали, – сомалийцы изнасило-

вали в мужском сортире. Он на отшибе стоял, вокруг деревьев, кусты, даже днём темно. Она как чувствовала, боялась заходить. Но они ушли, а один в приличном пальто задержался, вроде он не с ними. Украл, наверное, где-то пальто. Мадам, мадам, ребёнку, моему сыну, плохо, потерял сознание, побудьте с ним, а я в медпункт за врачом. Шапирюза раньше в универмаге на кассе сидела, привыкла людей по одежде оценивать, а потом у нас в договорах было записано, что беженцам надо помогать. Если он на улице у тебя что-то спросил, а ты не ответила, он тебя фотографирует на телефон и идёт в полицию. Хорошо, если только штрафом отделаешься, могут и с работы попереть. Она, дура, зашла, этот в пальто следом, ну и остальные из-за деревьев выскочили. Уже вечер был, как их разглядеть? В общем, по полной. Она месяц в больнице лежала. Ещё и зажигалкой прижгли. Я – не в Париж, а в полицию на допрос. Они решили, что это я сомалийцев на Шапирюзу навела, чтобы работать на две ставки. Хотели рабочую визу закрыть. В общем, – махнула рукой, – пролетел Париж. А во сне он мне понравился, – добавила после паузы каким-то странным, как будто уже спала, голосом. – Дома углами стоят, как утюги, глядят улицы, как брюки, всюду сирень и... негры. Один здоровый бык штаны спустил – и прямо на скамейку... из шланга. Они так в парках всегда делают. Я бабушкину древнюю частушку вспомнила: «Из-за леса, леса тёмного привезли его, огромного...» Совершенно меня не стеснялся.

– И что там, в Париже? – неожиданно заинтересовался Обьёмов. Дело в том, что ему тоже видеть сны было интереснее, чем жить. И города в его снах были реальнее настоящих. Некоторые – настолько, что Обьёмов путался, во сне или наяву он их посещал. Он не сомневался, что в общечеловеческой сети снов существует портал несуществующих городов, где у каждого пользователя открыта собственная страничка. Писатель Александр Грин совершенно точно брал названия – Гель-Гью, Лисс, Зурбаган – из альтернативного географического атласа.

– А я туда, не согласишься, – тоже перешла на «ты» буфетчица, – на симпозиум приехала! Это здесь я никто и звать никак, а во сне... – подмигнула Обьёмову, – уважаемый человек. Правда, не понять, из какой оперы. Серьёзные проблемы разруливаю, и всё по уму, по справедливости. А как проснусь, всё через... – огорчённо махнула рукой. – Хотя, – продолжила задумчиво, – и во сне меня поначалу обижали, не хотели разговаривать.

– Негры? – подсказал Обьёмов.

– Одежда выдавали в одном учреждении. – Она как будто не расслышала глупого вопроса. – Всем – пожалуйста, а мне нет! Так обидно! Наверное, замёрзла ночью, вот и приснилось. Но ведь не дали! А недавно, когда же это... да позавчера, на авиабазу попала. Я, когда в техникуме училась, там практику проходила, стояла в столовой на раздаче. Как в космонавты отбирали: характеристика, допуск, анкета. С

Лёшкой познакомилась. Капризный был: рис, говорит, у тебя непроваренный и салат с песком. Я ему: не по званию претензии, лейтенантик, ешь, что дают! С первого раза у нас не задалось. Сразу захотел полный обед с десертом! Послала его. Но адрес оставила. Письма писал, пока я на сухогрузах плавала, а потом за мной приехал. Проняло его. Капитаном уже был, командиром звена. Нам сразу квартиру дали, определили меня в столовую завпроизводством. Больше на раздаче не стояла. А во сне опять... понизили. Все мимо меня с подносами. Молоденькие, красивые, совсем не состарились. Лёшка в очереди, только на погонах почему-то пять странных каких-то, ушастых таких звёздочек. Наверное, там у них другие звания и знаки различия. И ещё заметила, что в зале столы в четыре ряда, а на окнах жалюзи. Такого не было. В три ряда всегда столы стояли, тюлевые занавески, каждую неделю стирали.

– И всё? – разочарованно спросил Объёмов.

– Не всё, – вздохнула буфетчица, – он со мной... по-немецки заговорил.

– Кто?

– Да Лёшка! И куртка на нём была странная – военная, но не наша, точно не наша. С тремя карманами на груди. И не на пуговицах, не на молнии – на железных таких квадратах. Как он её застёгивал? От борща и котлеты с пюре отказался. Два компота попросил.

– Пить хотел?

– Не знаю. Поставил стаканы на поднос, а потом сказал: «Вернусь с задания, получу премию, поедем в Умань дом покупать». Я удивилась: с каких это пор стали пилотам премии давать, чтобы на дом в Умани хватило? А он мне так серьёзно: «Это не задание – миссия! Всё уже решено, хоть никто об этом не знает». Что решено? Какая миссия? Лёшка сроду такого слова не говорил, да ещё... по-немецки!

– А дальше-то что? – Объёмов вдруг как будто увидел эту полуденную столовую, поднос с двумя стаканами светящегося на солнце компота, человека в странной куртке с тремя карманами на груди и с застёжками в виде железных квадратов. Он тоже не представлял, как они застёгиваются и расстёгиваются. И ещё у него возникло ощущение, что где-то он уже всё это видел, слышал, а может, читал? Неужели... во сне? – испугался Объёмов. Перевёл дух. Не во сне. Он точно не стоял в той очереди за пилотом с пятью ушастыми звёздочками на погонах. Иначе бы знал, что дальше. А он не знал.

– Только задание будет долгим, сказал, выпил компот, выплюнул косточку на поднос, придётся тебе меня подождать. Я хотела его полотенцем по морде, но тут сирена врубилась, наверное, мировая война началась, все разбежались, я одна в столовой осталась, не позвали меня почему-то в бомбоубежище. Как это объяснить?

Объёмов пожал плечами.

– Но всё равно, такое счастье... Хоть во сне... – Блес-

нув слезами, буфетчица взяла со стола графинчик, от которого никак не мог отлепиться взгляд Объёмова, поставила на поднос. – Дед говорит, – продолжила уже другим, померкшим, как опустевший графинчик, как проводивший его взгляд Объёмова, голосом, – если спать становится интересней, чем жить, значит, дело к концу. Надо срочно что-то менять, чтобы не пропасть. А ещё говорит, что если первая половина жизни даётся человеку в радость, то вторая – в наказание. Хотя у него-то наоборот. Первая половина – война и лагерь, вторая – кум королю, живи и радуйся. Неужели отпишет дом... школьной крысе?

– Сколько ему, восемьдесят пять? – припомнил Объёмов. – Уже не вторая, а... третья половина. Или третьей не бывает?

– Бывает, – охотно подтвердила буфетчица. – Она самая длинная, потому что это ожидание. Каждый чего-то ждёт. А... чего?

– От чего никому не отвертеться, – вздохнул Объёмов, но по лицу буфетчицы понял, что она имеет в виду другое. Ну да, посмотрел на Каролину, жизнь прожита, чего, кого ей ждать? Только улетевшего шестнадцать лет назад на истребителе *короля*.

Он и сам давно и, как водится, *безытогово* размышлял на эту тему. Ему тоже казалось, что лучшая часть его жизни, как живая цветная река, перетекла в сеть снов или в сонную сеть, что только там, рассекая виртуальные подсознательные

волны, он расправляет крылья (плавники?), принимает ответственные решения, полноценно и насыщенно существует. А как проснётся – перемещается в нечто, точнее ничто, в серый, вязущий по рукам и ногам туман, к однообразным бытовым хлопотам, мрачным мыслям, молчащим телефонам, бессмысленным новостям-перевёртышам из радио, телевизора и компьютера. Похоже, в мире не осталось однозначных новостей. Любая заключала в себе собственное же отрицание, являлась одновременно новостью и *антиновостью*. Даже если сообщалось о смерти известной персоны, то часто оказывалось, что персона жива и здоровствует. Непреложной, таким образом, оставалась единственная отсроченная новость, что все люди смертны и всему в мире (включая сам мир) рано или поздно настанет конец. Но интерес к ней, похоже, проявляли только писатель Василий Объёмов, сотрудничавший с гитлеровцами дед из Умани и его странная внучка по имени Каролина.

Да, конечно, иногда Объёмова выручают редкие путешествия, встречи с читателями в библиотеках, он заседает на круглых столах, иногда даже участвует в дискуссиях на второстепенных телеканалах, бывает, обнаруживает отклики на свои произведения в интернете, но и поверх этой имитации или компенсации жизни как будто натянут непроницаемый купол. Из шапито выхода нет! Он сам однажды пережил *панническую атаку* во время ток-шоу, ощутив себя в замкнутом пространстве антижизни, выдающей себя за *жизнь*. Ни одну

из обсуждавшихся проблем те, от кого это зависело, то есть власть или так называемая *элита*, не собирались решать. Это было прекрасно известно участникам ток-шоу, кормившимся вокруг власти или элиты, но они продолжали увлечённо фонтанировать словесной водой. Объёмов не выдержал, гневно рывкнул в профессионально аплодирующую по команде расположившегося в затемнённом углу *хоровика* массовку: «Прекратите! Вы – ничто! Ваше будущее – позор!» Хоровик, помнится, на мгновение замер, а потом врубил музыкальный проигрыш, после которого неожиданная реплика Объёмова сама превратилась в нечто среднее между *ничто* и *позором*. В ничтожный позор или позорное ничто. Стоявшие за двумя длинными столами напротив друг друга «говорящие головы» – известные люди – посмотрели на Объёмова с сожалением. После этого случая его перестали приглашать на телевидение.

Куда ушла жизнь? Почему даже сейчас, в незнакомом городе, где наверняка много такого, чего он не видел – да хотя бы могучую крепость на берегу озера! – ему хочется... ту-по завалиться спать? А что будет, – холодея от ужаса, думал Объёмов, – если (не дай бог!) накатит бессонница? Тогда в петлю! Среди его знакомых имелись многолетние бессонные люди. Они (многие, кстати, одного с ним возраста) непрерывно рыскали по аптекам, мучили врачей, заказывали транквилизаторы через интернет, каким-то образом обходя строгие запреты на их продажу без соответствующих рецептов,

любую беседу сворачивали на тему: какие таблетки реально помогают заснуть, а какие – обман и подделка. *Лишеницы сна*, подобно лезущим сквозь заграждения и колючую проволоку в Европу беженцам, стремились в вожаденную страну сновидений, проявляли недюжинную пассионарность в отстаивании неотъемлемого права человека на сон. Лестница человеческих несчастий воистину была бесконечной. На какой бы ступеньке ни стоял человек, всегда обнаруживался тот, кто стоял выше. Пусть я *не* живу, подумал Объёмов, но я хотя бы (пока) сплю, следовательно, я существую, а вот они...

– Не надо бояться, – осторожно приобнял он за плечи Каролину – неожиданную сестру по скрашиваемой сновидениями мýке (она же мука́) бытия, так определил Объёмов их общее на данный момент психологическое состояние. Он хотел сказать ей, что это та самая мука́ (она же мýка), из которой Государыня-смерть (определение Анны Ахматовой) выпекает для каждого своего подданного персональный, то есть предназначенный только ему и никому другому крендель, но подумал, что Каролина, как выпускница пищевого техникума, может воспринять эту мысль слишком буквально. Объёмов и сам не знал, почему одним – шедевры выпечки с тщательным соблюдением временных и кулинарных технологий, а другим – стремительный фастфуд?

Но он недооценил Каролину.

– И про смерть дед тоже говорил, – мягко, как если бы они были из воска, подалась плечами под его руками буфетчица.

Объёмов на автомате (как во сне?) прижал её к себе, опустил руку на талию, точнее на рельефно выпирающий из-под чёрной блузки телесный обруч. Ему вдруг вспомнилось неизвестно зачем прочитанное объявление в неверном свете фонаря на столбе возле платной гостиничной автостоянки: «*Олеся. 27 лет. Ахнешь! Звони!*» Там же висели и другие объявления с телефонами адвокатов, автомобильных и квартирных маклеров, практикующих на дому врачей-венерологов, а также безошибочно («*Если не сбудется – деньги назад!*») предсказывающих будущее экстрасенсов. Хотя, возможно, это явно неисполнимое обещание относилось к ожидающей звонков Олеся. Самое удивительное, что Объёмов, оторвав хвостик с телефоном, зачем-то набрал номер и некоторое время слушал задушевно-ласковое, но в то же время деловито-коммерческое: «Да! Я слушаю... Говорите... Что же вы молчите?», пытаясь представить себе эту самую Олеся. Но она вскоре отключилась, а он не стал перезванивать.

Рука соскользнула с талии. Буфетчица вздрогнула. Объёмов понял, что совершил ошибку. Не следовало физиологически, то есть произвольно, ахать, в смысле отдёргивать руку от телесного валика, как будто его ударило током. Получился обидный для женщины «ах!». Он попытался ободряюще улыбнуться Каролине, но улыбка вышла какая-то механическая. Ну и что, растерянно подумал Объёмов, я пришёл сюда поужинать, при чём здесь... *это?* Мы – о смерти, а не о...

– Дед сказал, что в определённый момент у человека пути души и тела расходятся, – спокойно, почти равнодушно, продолжила Каролина. Она не отреагировала на невербальный объёмовский «ах», не сморщила брезгливо губы, мол, на себя посмотри, старая развалина! – Организм берёт курс на смерть, потому что так велит природа, а человек, если слаб душой, ему подчиняется. Он, как капитан, чувствует, куда заворачивает корабль, а переменить курс не может. Не дай телу себя одолеть, говорил дед. А ещё говорил, что цивилизация существует по физическим законам человеческого тела. Никакая война, говорил дед, случайно не начинается. Только когда уровень зла, страданий и несправедливости в мире зашкаливает. Он про это дело целую, советскую ещё, школьную тетрадь исписал. Я читала, но не всё поняла. Он вроде как у Бога спрашивал: если зло, страдания и несправедливость для человечества всё равно что болезнь для человека, то почему против этого у Бога единственное лекарство – смерть?

– Потому что смерти нет, – ответил Объёмов, – а есть жизнь вечная. Ты ходишь в церковь?

– А на обороте тетради, где таблица умножения, дед вывел математическую формулу: *«Жизнь = Смерть + Бог»*. Как это понимать?

– Отличная формула, – согласился Объёмов, – главное, универсальная. Можно ставить слова и знаки в любом порядке, суть не изменится. Спросила у деда, что это означает?

– Спросила. Он сказал, что внутри формулы человеческой цивилизации и отдельно взятому человеку предоставляется выбор – умереть в силе и разуме, так сказать, на взлёте, или – как гнилому овощу на вонючей свалке. Но чтобы сделать этот выбор, надо... что-то совершить, переступить через себя, одним словом, решиться. Это опасно, потому что трудно угадать, что получится.

– Отрешимся от старого мира, – продолжил Объёмов, – отряхнём его прах с наших ног. Знаешь эту песню?

– Слышу отовсюду, – усмехнулась Каролина, – даже, – кивнула в сторону кухни, – из микроволновки, не говоря об этом, как его... *блендере*.

– Но на что я должен решиться, если я и есть... большое тело? – с преувеличенным интересом, лишь бы загладить своё (тела?) отступничество, поинтересовался Объёмов. Ему пришла в голову мысль, что организм берёт курс не только на смерть, но и на физическую деформацию, говоря по-простому, уродство. Невидимый скульптор как бы комкает собственное творение, злобно облепляет ошметьями лишней плоти, метит, как леопарда, пигментными пятнами, превращая несчастного в (хорошо, если) ходячую, а не лежащую *прореху*, как писал великий Гоголь, *на теле человечества*. Она права, опустил голову Объёмов, я – бродячая прореха на теле человечества, а человечество... прореха на теле Бога. Неведомый дед тоже прав! Господь, обливаясь слезами, штопает прореху по живому, потому иначе заштопать её невоз-

можно! У Господа нет для нас других ниток, кроме смерти! – Тихо умереть во сне, – пробормотал Объёмов, покосившись на свои обтрёпанные, с узлами на шнурках кроссовки. – Вот счастье, вот... права!

Но Каролина, не дослушав, вдруг рассмеялась, прикрыв ладонью рот, где, по всей видимости, в моменты смеха открывались пропуски (прорехи?) в зубах.

– Я сказал что-то смешное? – Предполагаемый стоматологический дефект во внешности буфетчицы странным образом придал ему уверенности. Я ещё могу мечтать, с хрустом распрямил спину Объёмов, что женюсь на молодой, заведу детей, а вот она...

– Мне позвонили снизу, сказали, чтобы я записала фамилию, кто придёт ужинать. Извините, как ваша фамилия?

Началось, поморщился Объёмов, сейчас выяснится, что никто для меня ничего не заказывал и, вообще, кто я такой... Бабья злоба, она как... кислота разъедает мир, пятнает его... прорехами, куда проваливаются несчастные мужики.

– Объёмов, – упавшим голосом произнёс он, – согласен, неожиданная фамилия. В словаре Даля...

– А мне, – прыснула в прижатую к губам ладонь Каролина, – слышалось, извините... Обь...

– Знаю, что тебе слышалось, – недовольно оборвал её Объёмов. В неискоренимом стремлении собеседников переделать его фамилию на непристойный лад он усматривал изначальную испорченность рода человеческого. Объёмов

вдруг вспомнил, как в библиотеке пытался уточнить фамилию одного забытого писателя. Какую-то он тогда писал статью о советской литературе. На «Ш», сказал он симпатичной интеллигентной библиотекарше, и вроде бы из трёх букв... «Шуй?» – немедленно предположила та. Фамилия писателя оказалась – Шим.

– Я ещё подумала: как же человек с такой фамилией живёт? – продолжила Каролина.

– На девятом этаже, – открыл дверь в холл Объёмов, – в девятьсот седьмом номере.

Ещё сквозь серебристые двери спускающегося лифта он услышал *копытливый* (по Есенину) стук каблуков по обнажившейся (в коридоре на третьем этаже меняли ковровое покрытие) плитке. Победительную уверенность, ножной размах, отчаянную (а пропади всё пропадом!) женскую отвагу услышал Объёмов в этом стуке. Так могла идти неведомая Олеся по вызову вознамерившегося ахнуть постояльца. Объёмов надеялся увидеть хотя бы её восхитительную спину, но каблучный стук растворился в лязгающем хлопке двери. Мой удел, горестно вздохнул он, домысливать за жизнью и ахать в пустоту. Коридор с голой, как в больнице или в общественном туалете, плиткой мерцал в скупом ночном освещении, как будто по нему бежала сиреневая лунная волна. Она угадала, мрачно подумал про буфетчицу Объёмов, моя настоящая фамилия – Обь... только это не я кого-то обь... а меня... Причём давно и навсегда! Ему вспомнились слова пожилого профессора-интеллектуала из американского фильма «Уик-энд в Париже», в четырёх словах подведшего итог своей многотрудной и богатой событиями жизни: *«Этот мир меня поимел!»*

Вопрос – почему это произошло, был не из тех, ответы на которые плавают, как осенние листья в пруду. Они скрыты в толще времени и событий, как алмазы в кимберлитовой

трубке. Но, может, и нет там никаких алмазов, одна пустая порода. Человек, однако, редко готов себе в этом признать-ся. Роет тупо и рьяно, изводя себя и мешая жить окружающим. Хотя (любой) ответ на этот вопрос никоим образом не меняет ситуацию к лучшему, а всего лишь, как некий божественный GPS, фиксирует точку нахождения неудачника на карте бытия.

О, как горестна, бесприютна и гравитационно-неотрывна эта подлая точка! Мимо проносятся длинные, как если бы дьявол дразнил голытьбу презрительно высунутым языком, лакированные машины. Из-за ресторанных столиков сквозь звон бокалов и серебряный звяк приборов доносится обнадёживающий женский смех. В банковских хранилищах, искрясь, пересыпаются, как... (неужели тоже – дьявольская?) крупа, бриллианты, сухо шелестят в счётных агрегатах купюры со щекастыми американскими президентами и разными другими историческими личностями в треуголках, тюрбанах, чалмах, цилиндрах, сомбреро, а то и в леопардовых пилотках или шляпах со страусовыми перьями. Тяжело и устало (тысячелетия минули, всё обернулось прахом, а они пребывают в вечной цене) светятся золотые слитки... А вот и преуспевший, но бодрый и подтянутый (недостижимый идеал Обьёмова) серебряно-седой (сам Обьёмов был сед как-то клочковато и тускло) писатель в кашемировом пуловере, с бокалом красного вина в руке и горестной – библейской? – мудростью во взоре возник на этой *мимо-картине*.

Он спускался по каменным ступенькам особняка в отгороженный от шумной улицы высоким забором сад, то есть в свой персональный прижизненный, увитый плющом, засажженный красивыми кустами и деревьями рай. Этот писатель каким-то образом утвердился в прекрасном и яростном (в смысле недопущения посторонних) мимо-мире, обустроился в нём, как живая муха в податливом сладком янтаре. Он поимел этот мир, сумел влезть в дефис между ним и словом «мимо».

Но это не Объёмов, нет, не Объёмов... Точнее, мимо-Объёмов.

Здесь-и-сейчас-Объёмов, если угодно, стоп-Объёмов, усиленно (по милости организаторов конференции) отужинав в компании свихнувшейся буфетчицы, сидел на кровати в лишённом излишеств, как жизнь без денег, признания и любви, гостиничном номере. Его положение было гораздо более прискорбное, нежели у миллиардов малых сих, дразнимых дизельным дьяволовым языком с мимо-картины. Те просто тупо существовали, вкалывали или бездельничали (не суть важно) и ничего не понимали, как аплодирующая по сигналу хоровика массовка на ток-шоу. А он, Объёмов, всё понимал и совершенно не нуждался в руководстве хоровика. Он-то знал, что для Бога нет лишних людей. Каждый человек для чего-то нужен Господу, если Он попустил ему появиться из материнской утробы на свет, возвестить о своём прибытии в мир тонким скрипучим плачем. Последую-

щая жизнь миллиардов людей, собственно, и была растянувшимся или сжатым во времени по причине ранней смерти (не суть важно) скрипучим плачем. Этот плач отравлял атмосферу и видимо воздействовал на климат, иначе как объяснить ледниковые периоды, когда приветливое лицо земли надолго скрывается под угрюмым ледяным забралом, а всё живое погибает от холода и голода? Причём с какой-то сатанинской мгновенностью. До сих пор учёные не могут объяснить, почему вдруг исчезли косматые, отменно приспособленные к любым холодам мамонты. Некоторые из них вмёрзли в лёд с недожёванной травой в пасти. Откуда накатил на землю этот космический холод?

Но победительно установившая в Божьем мире свои порядки невидимая сволочь из мимо-картины не хочет ждать климатических, то есть предназначенных свыше, перемен. Простые люди тяготят её своим избыточным количеством, главное же, тем, что хотят жить, есть, пить, размножаться, пользоваться благами цивилизации, которых на всех уже давно не хватает. Поэтому из мимо-мира в стоп-мир, как в колонию бактерий, запущено невидимое соревнование программ исчезновения людей. Собственно, приговорённый мир потому и существует в нынешнем своём, относительно не зверском виде, что пока не определена программа-победительница. А как только она определится, судьба мамонтов покажется стоп-людям завидной и счастливой.

Господь, продолжил *гибридную* – библейско-марксист-

ско-атеистическую – мысль Объёмов, вынужденно терпит такое отношение сильных мира сего к возлюбленным малым сим, а потом революционно перезагружает бытие, как зависший компьютер, смывает зарвавшийся мимо-мир вместе с телевизионно-отупевшим стоп-миром к чертям собачьим. Объёмов так и не пришёл к окончательному выводу насчёт этих чертей. Или у собак какие-то специальные (не такие, допустим, как у кошек или свиней) черти. Или же эти черти – в образе собак, быть может, даже в образе «людей с пёсьими головами». Но как тогда быть со святым Христофором, бережно перенёсшим лунной ночью ребёнка-Спасителя через реку? Этот уважаемый святой почему-то тоже изображался на иконах с пёсией головой. А как, интересно, разговаривал святой Христофор, неуместно задумался Объёмов. Неужели... лаял?

Смытая Господом к непонятным чертям картина мира каким-то подлым образом довольно быстро (хотя в СССР социалистический пейзаж с заводскими трубами, колосющимися полями и счастливыми пионерами продержался семьдесят с лишним лет) восстанавливается, причём непременно в ещё более грубом и отвратительном виде. Собственно, это и было, по мнению Объёмова, историей, точнее качелями, на которых качалась туда-сюда человеческая цивилизация. Бог хотел одного, люди – другого, в результате получалось что-то третье, что не нравилось ни Богу, ни людям. Жизнь Объёмова была горше жизни малых сих, потому что ему было

известно, что остановить качели, прыгнуть с них невозможно. После божественной – революционной, военной, климатической, да хоть *метеоритной* – перезагрузки всё возвращается на круги своя, все надежды на лучшее слизывает дьяволов язык. И ещё Объёмову было непонятно, почему он, Объёмов, с его рентгеновским видением вещей, приписан к удобряющему мимо-картину навозу малых сих? Приписан к расходному материалу, а не к тем, кто его расходует? За что такая несправедливость?

Ему вспомнилось одно графоманское произведение, читанное в далёкие редакционно-журнальные годы. Непуганый автор из глухой провинции осмелился вынести на суд читателей альтернативный, как принято сейчас говорить, образ ада. Казалось бы, тема, как могучие чугунные ворота, раз и навсегда отворена и затворена великим Данте, а вот поди ж ты... Самым непереносимым наказанием для грешника, к каковому новоявленный исследователь справедливо причислял подавляющую часть отошедших в мир иной людей, было угодить в круг, где новоприбывший (Объёмов запомнил формулировку, как если бы она была выбита на мраморе или *отлита*, как выразился важный государственный человек, в *граните*) «...всё понимал, видел, чувствовал, а изменить ничего не мог».

В пустой гостинице было непривычно – до звона в ушах – тихо. Никакие живые звуки не просачивались сквозь стены. Только за дверью в коридоре потрескивала, видимо готовясь

перегореть, лампа дневного света.

Спать почему-то не хотелось. От нечего делать Объёмов включил совмещённое с часами радио на прикроватной тумбочке. Воистину Белоруссия готовилась к великому будущему, а может, уже пребывала в великом настоящем, потому что по радио на русском языке (наверное, ещё не успели перевести на белорусский) передавали спектакль по... «Путешествиям Лемюэля Гулливера» Джонатана Свифта. Должно быть, спектакль шёл давно, потому что Гулливер уже успел добраться до страны благородных лошадей *гуигнгнмов* и странных безобразных существ *йеху*, существовавших в той великой стране на положении рабочего скота. *«Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своему строению в точности напоминает человека... В большинстве стад йеху бывают своего рода правители, которые всегда являются самыми безобразными и злобными во всём стаде. У каждого такого вожака бывают обыкновенно фавориты, имеющие чрезвычайное с ним сходство, обязанность которых заключается в том, что они лизнут ноги и задницу своему господину. В благодарность за это их время от времени награждают куском ослиного мяса. Этих фаворитов ненавидит всё стадо, и потому для безопасности они держатся возле своего господина. Обыкновенно правитель остаётся у власти до тех пор, пока не найдётся ещё худшего; и едва только он получает отставку, как все йеху*

во главе с его преемником плотно обступают его и обдают с ног до головы своими испражнениями».

Ну вот, покачал головой Объёмов, кто сказал, что в Белоруссии нет демократии? Он поднялся с кровати и тут же чуть не упал, так резко выстрелила в колено жившая там, как зверёк в норке, боль. Зверёк вцепился в колено острыми зубками, как бы указывая Объёмову его место: лежать, вытянув ногу на кровати, и не рыпаться! Он бы и лежал, да только спектакль резко прервался, словно кто-то дико разгневанный позвонил (возможно ли такое в Белоруссии?) «сверху» с требованием остановить передачу. После недолгой паузы сладкий женский голос запел: *«Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты ня поўная, чаму ж ты ня поўнаяй з беражском ня роўная. Люлі-люлі-люлі з беражском ня роўная, люлі-люлі-люлі з беражском ня роўная».*

А что если, подумал Объёмов (циничный юмор у него подобно плотине сдерживал напор отчаянья или сумасшествия, он не видел между двумя этими состояниями – сообщающимися сосудами – большой разницы) вместо доклада ограничиться одним абзацем из «Гулливера»? Зачем *умножать сущности без необходимости*, если великий Свифт ещё в восемнадцатом веке «закрыл тему»? Что, собственно, изменилось с тех пор? Ничего!

Закружилась голова. Сказались девять часов за рулём и... двести, никак не меньше, водки за время усиленного ужина. Трусливое, как определила буфетчица, точнее не буфетчи-

ца, а лицезревший в Умани Гитлера дед, тело жаждало капитуляции, покоя. Белым флагом размахивало и растревоженное сознание, оперативно, как в магазине обоев, подобравшее амнистирующую (и анестезирующую) мысль, что не изменить писателю Василию Объёмову мир честным и талантливым словом, если ни Библия – главная книга человечества, ни «Путешествия Гулливера» не смогли это сделать. А вот «Майн Кампф»... вывернул, подобно носку, мысль наизнанку??? Объёмов, ещё как смогла, правда, не всего человечества, а только немецкого и частично примкнувших к нему отдельных европейских народов... Обои мгновенно поменяли орнамент. Теперь там, как некогда профиль Троцкого на выпущенных в тридцатых годах в СССР *врагами народа* спичечных коробках, угадывалась свастика.

Объёмов видел такие – советские и германские – исчерканные коробки в Латвии, в одном из муниципальных музеев «советского тоталитаризма». Они лежали под стеклом рядом. Свастика была составлена из литых (крупновской стали?) штыков. И вылезающая прямо из пионерского костра бородёнка Льва Давидовича казалась острой, как... Неужели ледоруб? – помнится, восхитился опережающей время гармонией между преступлениями *демона революции* и определённой ему мерой наказания Объёмов. Экскурсовод с гордостью сообщила на неуверенном английском, что подобные музеи открываются в освободившейся от русского ига Латвии повсеместно. Объёмов не сомневался, что пенси-

онного возраста даме с подрагивающими руками в растянутом свитере из секонд-хенда было бы легче общаться с ним, единственным посетителем музея, на русском, но язык оккупантов был в независимой Латвии не в чести. С соседнего стенда на спрятавшегося в огне Троцкого строго смотрел голубоглазый юноша в форме добровольческого латышского легиона СС. *«Именем Бога я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание Главнокомандующему вооружёнными силами Германии Адольфу Гитлеру, и за это обещание я, как храбрый воин, всегда готов отдать свою жизнь»*. Фрагмент присяги был переведён с латышского не на английский, как пояснения к прочим экспонатам, а, видимо, для просвещения таких посетителей, как Объёмов, на русский язык.

Объёмов прекрасно понимал, что телесная и умственная капитуляция неизбежна, что время и возраст перетирают человеческую особь в пыль. Этот процесс невозможно обратить вспять. Отсрочить, смягчить, замедлить правильными лекарствами и здоровым образом жизни – да, но не обратить вспять. Остаться в разуме, умереть без мучений – большего, по мнению Объёмова, человек не смел просить у Создателя.

Хотя он знал человека (когда-то тот работал с ним в той самой редакции, которую народный философ осчастливил оригинальным образом ада), маниакально противостоявшего естественному процессу старения, посягнувшего на *отцовское право* Создателя распределять черпаком кашу жиз-

ни по мискам возлюбленных детей своих.

Во времена СССР нуждающимся сотрудникам редакций газет и журналов иногда удавалось получать от государства квартиры. В счастливый олимпийский – одна тысяча девятьсот восьмидесятый – год вышло постановление ЦК КПСС, один из пунктов которого предписывал улучшать бытовые условия молодых работников идеологического фронта. Квартиры в новом доме на окраине (сейчас район считался почти центральным) получили Объёмов и этот самый его сослуживец с позванивающей, как колокольчик – *Люлинич* – фамилией. Тогда, впрочем, оба они были относительно молоды и жизнь им казалось такой же бесконечной, как советская власть с бетонными памятниками Ленину, перевыполняющими планы заводами, межконтинентальными ракетами, старцами на трибуне Мавзолея и границей на замке. Колокольчикам Объёмова и Люлинича, не важно, кто что под этим понимал, казалось, ещё звенеть и звенеть...

Потом пути Объёмова и Люлинича разошлись, но, встречаясь в магазине или на остановке возле дома, они здоровались, обменивались случайными и не всегда достоверными сведениями об общих знакомых, обсуждали последние новости. Объёмов привычно ругал власть и жаловался на жизнь. Люлинич никогда не жаловался, только каменел лицом и смотрел куда-то в сторону. И Люлинич, и Объёмов давно развелись с жёнами, новых семей не завели. Объёмов кормился скудными литературными заработками. Люлинич ра-

ботал в малобюджетных и малоизвестных газетах, периодически закрываемых властями за *пропаганду экстремизма и социальной розни*, но всякий раз возрождающихся под новыми названиями. Когда из-за затянувшегося экономического кризиса и этим газетам выходить стало невмоготу, Люлинич переместился на патриотические сайты. Власть их тоже была, как мух мухобойкой, но они размножались быстрее.

Окна квартиры Объёмова смотрели на забранную в бетонную оправу, как глаза мотоциклиста в овальные очки, восьмёрку пруда, вокруг которого со временем образовалось что-то вроде парка с детской и спортивными площадками. Белая сирень мощно разрослась в этом парке, и поздней весной Объёмов подолгу стоял на балконе, глядя на кусты сирени, напоминающие сверху нездешних белых овец. Было в них что-то ангельское, если, конечно, ангелы занимаются овцеводством. Иногда поднимался ветер, и ангельское стадо как будто волнисто двигалось куда-то, оставаясь на месте.

С балкона он и стал замечать бывшего сослуживца в спортивном костюме, каждое утро в любую погоду изнуравшего себя круговым бегом вокруг пруда, а затем упражнениями с гантелями и какими-то другими сложными гимнастическими приспособлениями, которые он извлекал из огромной сумки. Завершив упражнения с принесённым инвентарём, Люлинич, как вепрь, кидался на тренажёры, не пропуская ни единого. Особенно почему-то ему нравилось висеть, широко разведя ноги, вниз головой на кольцах. Каким-то об-

разом Люлиничу удавалось продевать ноги в кольца, а потом из них выскальзывать. Глядя на Люлинича, Объёмов кощунственно вспоминал святого Андрея – покровителя русского флота, распятого именно так, как висел Люлинич.

Он одновременно завидовал могучей воле идущего по стопам Гарри Гудини Люлинича, но и сомневался в необходимости подобного самоистязания. Стоя на балконе, Объёмов задирал голову вверх и словно видел свесившиеся с небес устало-натруженные *руки времени*. Этот скульптор мял ходящих вниз людей, как глину, вылепливая из них смешные, но большей частью грустные фигурки. Одних превращал в лысых, пузатых, страдающих одышкой толстяков – «бродячее кладбище бифштексов», как когда-то написал Ремарк. Других – сушил, как хворост, вгонял в непреодолимую худобу. Они ходили – со спины молодые, с лица же – складчато-морщинистые, как «*яйца носорога*». Это уже определение Хемингуэя, славно поохотившегося в своё время в Африке на львов, антилоп и, надо думать, носорогов.

Руки времени вытворяли, что хотели, руководствуясь одной им понятной логикой. С таким же успехом (для одних) и неуспехом (для других) они могли вообще ничем не руководствоваться. Одни люди не знали, что такое утренняя зарядка и физические упражнения, мощно ели и пили, понятия не имели о холестерине, простатите, аденоме и атеросклерозе, но доживали до глубокой старости в разуме и отменной физической форме. Другие вели исключительно здо-

ровый образ жизни, ходили к врачам, сдавали раз в полгода, а то и чаще на анализ кровь и мочу, мыли по сто раз на дню руки, шарахались от сосисок, чипсов, кока-колы и алкоголя, но почему-то умирали раньше, чем самые отвязные чревоугодники и алкоголики.

Объёмов обнаружил подтверждение этой, раздражающей приверженцев стандартного взгляда на мир – дважды два всегда четыре! – мысли на примере... дров, которые раз в три года привозили ему в деревню на тракторе местные люди. Дрова прибывали в виде толстых чурбаков, колоть которые Объёмов предпочитал сам. Ему нравилось это укрепляющее тело занятие. Где-то он вычитал, что колка дров оптимальна в плане распределения нагрузки на мышцы человека. Потому-то, делал вывод Объёмов, великие люди (даже Ленин в Шушенском!) так любили колоть дровишки. Должно быть, им казалось, что вот так они расхреначивают тупой, опостылевший, не способный к революционному преобразованию мир.

Обычно он не успевал разрубить все чурбаки за один сезон, часть из них оставалась зимовать на участке. Когда он, счистив ржавчину с колуна, приступал к ним следующей весной, одни оказывались внутри с трухой и муравьями, а другие – из той же партии «однодеревцы», точно так же пролежавшие несколько месяцев на мокрой земле – необъяснимым образом окаменевшими, ссохшимися в жёлтый монолит. Колун отскакивал от них, как мячик от асфальта. Из

них определённо можно было делать те самые «гвозди», которые поэт предлагал делать из революционеров-ленинцев. Так и прочие люди, делал Объёмов очевидный вывод. Одним – крепкое здоровье до смерти, другим... *понятно что*, как бы они себя ни изнуряли бегом и упражнениями.

Продолжая «топориную» (неологизм Солженицына) тему, одни чурбаки он сравнивал... с женщинами, каких держал на примете и какие были бы очень удивлены, а возможно и оскорблены, узнав о его эротическом планировании. Объёмов загадывал, со скольких ударов та или иная расколется под напором его страсти. Другие чурбаки олицетворяли писательскую славу. Сколько лет должно пройти, зверски обрушивал на деревянные, как если бы они были издателями, критиками и читателями, головы колун Объёмов, прежде чем общество по достоинству оценит его произведения, воздаст автору по заслугам, прольёт на него золотой гонорарный дождь?

Случалось, олицетворявший женщину и казавшийся несокрушимым чурбак раскалывался с одного удара, а следующий (литературная слава) держался, как будто был из стали. Объёмов видел в этом противоречивую правду жизни. С женщинами ещё туда-сюда, с признанием – никак.

Люлиничу, похоже, не хотелось быть глиной в руках времени, он вознамерился самостоятельно определить себя в деревянные «гвозди», сыграть в игру «сам себе скульптор». Однажды, прогуливаясь в сумерках (любимое время) вдоль

пруда, Объёмов сказал работавшему на скамейке с тяжёлой ушастой гантелью Люлиничу: «Пожалел бы себя». «Рад, но не могу». – Люлинич тяжело дышал, на красном лице дрожали капли пота, вены на изнуряемой гантелью руке напояли синие провода. Меньше всего он походил на человека, получающего удовольствие от физических упражнений. Скорее на тянущего из последних сил баржу бурлака. «Что так?» – поинтересовался Объёмов. «Хочу увидеть, чем всё это закончится, – прохрипел на выдохе Люлинич, – как всю эту сволочь поволокут из их дворцов на *правёж*! Может, – перевёл дух, – и мне, рабу Божьему, выпадет счастье поучаствовать...»

Однако *время* в подобных играх неизменно выигрывало, потому что у него на руках были непобедимые (тяжелее любых гантелей) козыри. И вообще, оно было хозяином всех заведений. Кто слишком рьяно, как Люлинич, «звенел» в своём заблуждении, тех оно выпроваживало из-за карточного стола (спортивного зала) с угрюмым, как в случае с Троцким и ледорубом, юмором.

«Ваш приятель из третьего подъезда сегодня утром помер, – сообщила в один прекрасный (не для Люлинича) день Объёмову сидевшая на первом этаже в стеклянной выгородке консьержка. – Добегался. Прямо в грузовом лифте. Из шестидесят второй армяне съезжали, а он в лифте упал, голову разбил о дверь. Кровищи как из быка. Армяне не стали трогать. Вытащим, говорят, а потом доказывая... У них

две „газели“ у подъезда, половина вещей на улице. Вызвали скорую, потом милицию, извиняюсь, полицию, перекрыли проезд. Полицейские злые приехали, армян мордами вниз на лестничную клетку, пока врач не сказал, что он от сердечной недостаточности... Таксисты с газельщиками внизу подрались: почему вещи на асфальте, где хозяева? В общем...»

«Беда...» – вздохнул Объёмов, соображая, как ему реагировать на смерть Люлинича: интересоваться, сообщили ли родственникам, когда ожидаются похороны, или просто горестно вздохнуть и уйти.

«А вот не скажите, – неожиданно возразила консьержка, – праздник».

Звали её Аллой Петровной Белокрысовой, о чём извещала аккуратная табличка в углу «аквариума», как если бы Алла Петровна была важной личностью и сидела не в подъездном «аквариуме», а на каком-нибудь совещании или симпозиуме.

Она отчасти оправдывала свою фамилию – остроликая, неразборчивого возраста, быстроглазая, с неподтверждённым, как у крысы из сказки Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», правом интересоваться паспортами жильцов. Объёмов давно присматривался к этой, с позволения сказать, консьержке, на довольствие которой сдавал каждый месяц триста пятьдесят рублей. У неё было три (из известных Объёмову) занятия: читать книги, от которых активно, как если бы их хранение являлось (*мысле?*) преступлением,

избавлялись обитатели подъезда; поливать тесно стоящие на ненормально высоком подоконнике горшки с растениями и цветами – от них жильцы тоже, хотя и не так бескомпромиссно, как от книг, избавлялись; метить почтовые ящики бумажными ленточками с неприятным словом «задолженность». Когда на улице был ветер, а кто-то открывал дверь в подъезд, ленточки трепетали на ящиках, как на квадратных бескозырках.

Какая-то эта консьержка была ускользающая, то приветливая и угодливо-прилипчивая, то в упор не замечавшая Объёмова. И неожиданно для своего, хоть и неразборчивого, но определенно не девичьего, возраста шустрая. Однажды она прямо на его глазах, совсем как балерина из всё той же сказки Андерсена, легко влетела, правда, не в открытую печь, где плавился оловянный солдатик, а на высокий подоконник, где теснились спутавшиеся ветками бездомные растения, чтобы открыть форточку.

«Праздник? – опешил Объёмов. – Для кого?»

«Для всех, – пояснила Белокрысова, – а в первую очередь для покойника. Ничего не надо. Тишина. Он свободен. Я думаю, рай – это тишина».

«Тишина и... свобода», – тупо повторил Объёмов. Ему снова вспомнилась бумажная андерсеновская балерина. Он подумал, что надо гнать эту крысу, пока она не подожгла дом, не развинтила газовую трубу, не впустила в подъезд банду террористов. А ещё лучше проверить у неё самой пас-

порт. Как спастись, ужаснулся он, если лифты встанут, а чёрная лестница наглухо забита разным хламом?

В это время худой, прыщеватый, с забранными в хвостик волосами на затылке юноша в обвисших, как поруганное знамя, шортах (в молодёжных сетевых сообществах таких называют задротами) с грохотом втащил в подъезд велосипед. Консьержка поинтересовалась, чистые ли у велосипеда колёса, но «задрот», буркнув: «Отвянь, мать!», проигнорировал вопрос.

«Разве это правильно?» – осведомилась Белокрысова у Объёмова, когда «задрот», шевеля челюстью и перебирая ногами в ссадинах и синяках, как паук загрузился со стонущим велосипедом (железным кузнечиком) в лифт.

«Что правильно?» – Вопрос показался Объёмову по аналогии с собственной фамилией чрезмерно объёмным.

«Что такие живут», – просто объяснила Белокрысова.

«Не торопятся на праздник?» – уточнил Объёмов.

«Лучше пусть бы ваш приятель жил, он хоть... сами знаете, – со значением произнесла консьержка, – чем этот...»

Худой, как велосипед, «задрот» не вызывал у Объёмова ни малейших симпатий, но так резко ставить вопрос он был не готов. А она это... ещё ничего, гадко, но отстранённо, как будто и не он вовсе, а какой-нибудь (типа Свидригайлова или Ставрогина) герой Достоевского, подумал Объёмов, худенькая, а грудь... Личико, правда... Он понял, что это реакция сознания на непривычную для него, сознания (в плане раз-

вития темы), ситуацию. Не сказать, чтобы сознание в данном случае проявляло себя с лучшей стороны. Так ветер, усиливаясь, первым делом поднимает с асфальта мусор.

«Что-что?» – Объёмов, на мгновение как будто потерял равновесие, утратил координацию внутри собственной личности, явственно ощутил внезапную и необъяснимую власть Белокрысовой над собой. Похожим образом цыганки, мелькнула мысль, выманивают у доверчивых граждан деньги, а те потом не понимают, как это могло произойти. И... не только цыганки. Дальше думать на эту тему не хотелось.

«Посмотрите вокруг, – между тем продолжила Белокрысова, – посмотрите на себя, на меня. Как мы живём? У нас отняли жизнь. Ваш приятель понимал... Так что ещё неизвестно, кому больше повезло – кто уже на празднике или кто... – вдруг заговорщически подмигнула Объёмову, – только собирается».

Кто посадил сюда эту ведьму, ужаснулся Объёмов, надо переговорить с участковым, со старшей по подъезду... Однако, вспомнив участкового, кажется, его фамилия была Гасанов (пару месяцев назад он, с трудом подбирая русские слова, показывал жильцам размытую серую фотографию бородатого, в глубоко натянутой на уши вязаной шапочке человека), вспомнив старшую – восторженную идиотку в пелерине, на шпильках, с тремя путающимися в поводках, нервно таявками пуделями, отказался от этой мысли. Но всё же сделал неуверенный шаг к «аквариуму». Белокрысова слегка

сместилась в своём кресле на колёсиках, и Объёмов увидел чёрную резиновую дубинку, лежащую на тумбочке как раз под правой рукой консьержки. В девяностые годы такими дубинками, их тогда называли «демократизаторами», омоновцы избивали демонстрантов, протестующих против антинародной политики Ельцина. А ещё Объёмов разглядел на стене в закутке то ли фотографию, то ли репродукцию в рамке под стеклом, на которой, к немалому своему изумлению, узнал... Гитлера. Фюрер – молодой и стройный – в стильном чёрном кожаном пальто с поднятым воротником пронзительно смотрел в глаза замордованным Версальским мирным договором соотечественникам. Ну да, никто не помнит, как он выглядел в молодости, подумал Объёмов, поэтому она и повесила. Кто догадается?

«Рахманинов, – отследила его взгляд Белокрысова. – Середина двадцатых. Редкая литография. Дочь купила в Буэнос-Айресе на блошином рынке».

«Великий композитор», – с трудом отклеил взгляд от литографии Объёмов.

«Он ещё сыграет свой ноктюрн, – сказала ему в спину Белокрысова. А когда Объёмов шагнул в лифт, добавила: – С большим симфоническим оркестром».

Глядя из окна на освещённую (она напоминала огромный зубчато-башенный шоколадный торт) крепость, на ночное, цвета вяленой рыбы, озеро, на несущиеся по небу, как если бы эти самые вяленые рыбы вдруг стали летучими, облака, Объёмов подумал, что у Люлинича не было шансов преуспеть в *своей борьбе*. Тело одержало полную и окончательную победу, смахнув с доски второго игрока. Люлинич обманчиво полагал, что (теоретически) тело можно наладить в обратный путь – от старости к молодости, от увядания к цветению, но не учёл, что, дойдя до определённой, известной только ему, телу, точки, оно срывается, как стрела с натянутой тетивы, катапультируется в небытие. Поэтому, сделал несложный вывод Объёмов, не следует насильно навязывать телу свою борьбу. Как и народу, невольно продолжил мысль, ту или иную идеологию. Не факт, что они (тело и народ) обретут *радость* через *силу*. Записав это в блокнот как возможный тезис для выступления на конференции, Объёмов странным образом успокоился. Настроение улучшилось. Неправильные мысли вносят в сознание разлад, лишают человека покоя и уверенности, подумал он, ведут к психическим и вегетативным расстройствам. Правильные же, пусть даже чисто умозрительные, обезволенные, они... как бальзам, как влажный компресс на больную голову.

Но сознание (больная голова) в силу непонятных, точнее понятных, но (по умолчанию) оставляемых за скобками причин, упорно, как алкоголик к спиртному, тянулось к *неправильным мыслям*. Объёмов объяснял это тем, что неправильные мысли несли в себе заряд удручающей ясности относительно природы человека и общества в целом, были чем-то вроде негатива божественной истины о них. Той самой, от которой человек бежал, как «заяц от орла». В тёмных линиях и перекрестьях этого негатива многие люди искали (и самое удивительное, находили!) смысл, уродливую красоту и оправдание собственного существования. Их сознание смещалось с божественного «кремнистого пути» с говорящими в небесах звёздами на нехоженные тропы, где отсутствовали правила движения. Эти тропы вели никуда, неизвестно куда, куда угодно, но только не туда, куда надо. Хотя случались исключения. Божественный ветер, а может, божественная птица перенесли с нехоженных троп на общечеловеческое поле избранные зёрна: Иисуса Христа, Мухаммеда, Будду, апостолов, святителей, пророков, страстотерпцев и прочих отличников божественно-политической подготовки. В колючем огненном кусте на нехоженной тропе вблизи поля, в неопалимой купине скрывался и грозный Б-г иудеев. В этот куст могла сунуться только (неизвестно, божественная или нет) огнестойкая птица феникс. Но это, похоже, пока не входило в её планы. Избранная истина, таким образом, прорастала на свет из (огненной?) тьмы, оставляя во тьме

тьму низких (не избранных), испепеляющих мир и людей истин. Собственно, в пространстве между тьмой низких (повседневных) и – единственной избранной – истинами и существовал Божий мир.

Объёмов не уставал восхищаться совершенством системы противопожарной безопасности, мощью сдерживающих тьму безумия редутов, возведенных Господом в дурных человеческих головах. Чем-то это напоминало необъяснимое неприменение ядерного оружия в давно готовом, если не страстно желающем пустить его в дело мире.

Входя в метро, он всякий раз радовался спокойствию и отрешённости разновозрастных и разноплемённых пассажиров в вагоне. Все сидели, уткнувшись в смартфоны, никто не рычал, не ревел, не бросался, ощерив зубы, на соседей... И в то же самое время Объёмов явственно ощущал иллюзорность многонационального смартфонного покоя, как если бы под тихой речной гладью невидимо рвал воду в клочья острыми, как серпы, плавниками глубинный монстр. Смартфонные люди как будто не в метро ехали, а плыли в надувных лодочках по той реке... Господь, делал странный вывод Объёмов, удерживал равновесие в мире посредством... смартфонов, айфонов и прочих... гаджетов (отвратительное, враждебное русскому языку двукоренное – гад и ад – слово!). Пространство между истинами вынуждало человека делать выбор в пользу одной из них. Пространство вне истины избавляло от этого. Гаджеты, таким образом, являлись сред-

ством перемещения в виртуальный мир вне истины, мир без выбора. В некую резервацию, отстойник определил Господь возлюбленных чад своих, чтобы принять окончательное решение относительно их судьбы. Обьёмов верил в бесконечную милость Господа, но у него не было никаких иллюзий насчёт того, каким будет это решение.

...А потом он, похоже, задремал на неразобранной кровати под дробь дождя по подоконнику и душевные белорусские песни из приёмника, потому что вдруг обнаружил себя... двадцатилетним студентом-практикантом в редакции журнала «Пионер» на одиннадцатом этаже газетно-журнального корпуса издательства «Правда» в Бумажном проезде напротив Савёловского вокзала.

Будущего журналиста Васю Обьёмова определили на два летних месяца в отдел писем детского журнала, посадили за жёлтый с выдвижными, через один запертыми ящиками стол, выдали специальную электрическую машинку для вскрытия запечатанных конвертов. Машинка напоминала железную ладонь. На эту ладонь следовало положить письмо и слегка подтолкнуть его в сторону ворчливо крутящегося в глубине машинки круглого лезвия. Оно как по линейке срезало с конверта тонкую полоску, после чего письмо легко, как худая нога из просторной штанины, извлекалось из конверта. Но этой операцией дело не ограничивалось. На письменном столе Васи Обьёмова лежала стопа разграфлённых фиолетовых картонных карточек. В них следовало впи-

сать: имя и фамилию отправителя; его почтовый адрес с индексом; а также краткую информацию о содержании письма. Конверты и извлечённые из них письма прикреплялись к карточке скрепкой. Это называлось регистрацией поступившей почты. Каждое утро с распределительного почтового узла издательства «Правда» в редакцию журнала «Пионер» поступал прошитый верёвкой бумажный мешок с сотней, а то и больше писем от юных, взрослых, пожилых, а иногда и выживших из ума читателей.

Помимо Васи, «учётчиками писем», так называлась эта (нижайшая в редакционной иерархии) должность, были ещё две девушки – Света (от неё постоянно пахло потом) и Марина – жена офицера-подводника, она благоухала терпкими с горчинкой духами. Была ещё и третья (ушедшая в декрет учётчица), за чьим столом и расположился временно Вася. Сунувшись однажды в незапертый ящик стола в поисках стержня для шариковой ручки (карточки высасывали их, как фиолетовая пустыня), он обнаружил под аккуратно вырезанными из иностранных журналов фотографиями стройных дам в красивых платьях и неряшливо выдранными из советского журнала «Работница» пересохшими выкройками длинную (пулемётную) ленту «изделия № 2» Баковского завода резиновых изделий. Ну да, успел подумать Вася, перестала использовать и... сразу в декрет. Он покраснел, явственно ощутив знакомый запах этого, оставляющего на руках белую пыль, изделия, хотя наглухо запечатанные мятые

квадратики с рельефным колечком по центру не могли его издавать. Это был фантомный, психический, тревожный запах. К двадцати годам Вася приобрёл некоторый сексуальный опыт, неотъемлемой частицей которого была неуверенность в надёжности отечественного (индийские тогда ещё не появились) изделия. Были, были в Васиной практике случаи, когда, контрольно опустив глаза долу, он обнаруживал вместо изделия одно лишь плотно прикипевшее белое резиновое кольцо в юбочке лохмотьев. И девушки, делившие с ним радость любви, даже если изделие по окончании любовной радости внешне выглядело молодцом, часто отправляли Васю в ванную для его проверки. И Вася стоял у зеркала над раковиной, тупо разглядывая наполненный водой пузырь с плавающими белыми головастиками, а заодно и собственную противно-самодовольную физиономию.

Впрочем, только первую неделю Вася смущался, перелетая в кабинете, как бабочка или пчела, от запаха горячего девичьего пота к запаху разогретых девичьим телом духов с горчинкой и – фантомному запаху изделия № 2 Баковско-го завода. Вскоре они слились в единственный упоительный запах б...вольницы, креативно (тогда это слово ещё не родилось) преобразивший и наполнивший (философы называли это дело *эросом*) унылые крысино-канцелярские будни замещающего временно вакантную должность учётчика писем студента.

А как могло быть иначе в женском коллективе, гимном

которого была сомнительная, неизвестного происхождения песня:

По аллеям тенистого парка
с пионером гуляла вдова.
Пионера вдове стало жалко,
и вдова пионеру дала.
Почему же вдова пионеру дала
в эту тёмную ночь при луне?
Потому что сейчас
каждый молод у нас
в вечно юной Советской стране!

Вася и оказался таким вот несознательным «пионером» в перегретом разновозрастными женскими телами тенистом парке. Он даже взял на себя смелость изменить одну из строчек гимна: *«Пионеру с вдовой стало жарко, и вдова пионеру дала»*. Лето в тот далёкий год и впрямь выдалось жарким и дымным – под Москвой горели леса и торфяники.

А ещё он припомнил (во сне), что этажом ниже располагался отдел писем самого многотиражного (кажется, более десяти миллионов экземпляров) журнала в СССР «Здоровье», где трудилась рота, никак не меньше, девушек-письмоводительниц. Тенистый парк воистину не знал границ, и были эти границы отнюдь не на замке. Никогда больше в своей жизни писатель Василий Обьёмов не попадал в столь сладостные кущи *под сенью девушек в цвету*. Так назывался ро-

ман популярного в то время в СССР французского писателя Марселя Пруста. Даже в редакции журнала «Пионер» слышали о нём. На чёрном рынке этот непростой для понимания простого советского человека роман стоил в десять раз больше вытисненной на обложке цены. Но простой советский человек хотел его читать и был готов переплачивать. Это была одна из странностей или загадок социализма. Казалось бы, что за дело советской учительнице или советскому геологу до какого-то эстетствующего *Свана*, жившего сто лет назад в Париже?

Ну почему, почему, вертелся сверлом, спустя годы, в одинокой холодной постели писатель Василий Объёмов, я был так труслив и сдержан в тенистом парке под сенью девушек в цвету? Почему не прочесал его вдоль и поперёк широким бреднем? Но (опять же во сне) как лёгкий ветерок сквозило понимание, что потому-то и распахнулись приветливо перед ним ворота парка, что был он там временным, если не случайным гостем, с которого, как говорится, взятки гладки. Оттрубил практику, и гуд-бай!

Он привередничал, пренебрёг по эстетическим соображениям похожей одновременно на милого зайчишку и добрую сказочную лягушку девушкой с широко расставленными глазами из журнала «Здоровье». Не попадая своими глазами в её, утыкаясь в белый шлагбаум лба, Вася вспоминал строчку Игоря Северянина: *«На серебряной ложке протянутых глаз я прочёл разрешение войти»*, изумлялся разме-

ру этой самой даже не ложки, а... поварёшки. Девушку все звали Зямой. Вася как-то не удосужился узнать её имя и фамилию, Зяма и Зяма. Однажды в обеденное время они стояли в очереди в столовой, и она рассказала ему, что вступила в переписку с маркшейдером из Сыктывкара, написавшим в «Здоровье» о постельных неладах с женой. Зяма в ответном послании на бланке редакции привела слова Антуана де Сент-Экзюпери о том, что любить означает смотреть в одном направлении, посоветовала ему быть выше презренной физиологии. Но маркшейдер не внял, прислал ей заказным с уведомлением письмом... сперму в полиэтиленовом контейнере с просьбой исследовать её в (секретной?) космической лаборатории на наличие неведомых, отрицательно заряженных (чем?) *спермо-ионов*. Маркшейдер утверждал, что таинственные спермо-ионы угрожают существованию человечества как биологического вида. С их помощью инопланетные пришельцы по своей программе трансформируют геном человека. Получив дозу, баба становится неменяемой, рождает скрытого мутанта, а ничего не подозревающие мужики заражаются этой дрянью через... изделие № 2! Глядя на Васю широко расставленными стрекозьими глазами, Зяма поведала, что вечером в Доме культуры «Правды» будут показывать фильм *«Точка, точка, запятая...»*, она пойдёт, потому что живёт через два дома на улице Правды, мать уехала на дачу, а ей скучно. Но Вася лишь неопределённо пожал плечами. Название фильма почему-то навело его на мысли

о наполненном водой резиновом пузыре, где плавали белые точки, точки и запятые, вполне возможно, отравленные инопланетными спермо-ионами. Круг замкнулся. Вот так глупо он поставил *точку* в отношениях с Зямой, пронёс мимо рта длинную серебряную поварёшку.

А с опытной замужней красавицей Мариной – любительницей терпких духов с горчинкой – он лениво встречался в подвальной мастерской иллюстрировавшего тексты журнала художника на Башиловской улице, иногда даже не предупреждая её, что не придёт. Марина, нервно теребя рукава красивого белого свитера, ждала его среди подрамников и неоконченных рисунков, откуда на неё задорно смотрели салютующие пионеры в красных галстуках. Потом, наверное, найдяшись по пятнистому, как шкура гиены, дощатому полу, сидела на низкой раздолбанной тахте (художник называл её *спермодромом*), грустно глядя на чёрную гроздь висящего на стене допотопного (из Смольного, шутил художник) телефона. Утром в редакции Вася только разводил руками в ответ на упрёки Марины: не получилось, звонил – не дозвонился, потом уже было поздно. И она прощала его, и он, идиот, думал, что так будет всегда...

Только потом, переместившись из тенистого влажного парка в сухую и скупую (на ответное женское внимание) лесостепь, а может, и полупустыню, писатель Василий Обьёмов понял, что период наибольшего благоприятствования со стороны женщин предоставляется мужчине на короткий

срок и в исключительных обстоятельствах. Как выигрыш в лотерею, как ипотека, проценты за которую превышают лихо истраченный кредит. Формула «тело – товар – любовь» сезонна, пока тело молодо и... глуповато. Потом товарная востребованность тела растворяется во времени и пространстве, её не вернуть физическими упражнениями, какими, например, занимался... Люлинич. Почему он его вспомнил... во сне?

Каждое утро срезанные машинкой с почтовых конвертов полоски, как бумажная вермишель, наполняли мусорную корзину. Стопки писем, увенчанные фиолетовыми карточками, раскладывались по папкам. Стихи к стихам, рассказы к рассказам, рисунки к рисункам. Некоторые сообщения – о конфликтах и интригах в пионерских отрядах и октябрятских звёздочках (были и такие!) передавались в отдел пионерской жизни, где их внимательно изучали сотрудницы. Если затронутые в письме вопросы представлялись важными, в журнале появлялась установочная статья, разъясняющая подрастающему поколению, что делать, кто виноват и как надо жить.

Когда папки наполнялись, за письмами наведывались литконсультанты.

Детские рассказы забирала тонкая, как удочка, седая прокуренная дама со следами былой, но какой-то измученной красоты. «Боже, опять про войну и Павлика Морозова, – помнится, вздохнула она, быстро перебирая письма, когда

Вася увидел её в первый раз. – А вот ещё про... водителя. Он... что? Съел... ежа? Каким образом? Хотя... я как-то отведала рагу из ежа с запаренной хвоей на гарнир. Под Благовещенском, в тайге на лесоповале в посёлке „Свободный“ в новогоднюю ночь. У меня начиналась цинга. В „Свободном“ не было ни одного свободного человека. Даже у конвойных были сроки. Мне тогда было столько же, сколько вам сейчас, – посмотрела сквозь табачный дым, как сквозь колышущуюся сиреневую пелену (времени?), на Васю. – Меня, кстати, после этого праздничного ужина собирались расстрелять за издевательство над несгибаемым сталинским наркомом товарищем Ежовым. К счастью, его вскоре сняли с должности, и мне добавили всего лишь пять лет за хулиганство. Вам не приходило в голову, молодой человек, – внезапно сменила тему седая дама, – что ёж – это скрытый символ социализма, его – по Карлу Густаву Юнгу – архетип? Наш народ сидит на нём голой жопой, а ёжик-то, как в детском анекдоте, давно сдох и воняет...» Вася сразу вспомнил этот – как бабушка прятала внука от трамвайных контролёров под юбкой – детский анекдот и несколько смутился, живо и гадко представив себе благородную седую даму в образе той самой народной бабушки. А себя... неужели в образе внука? Он хотел возразить, что на бабушкин век точно, да, пожалуй, и на его тоже советского ёжика (в рукавицах или, как сейчас, в мягких варежках) хватит, но заметил, что Марина за спиной узницы сталинских лагерей выразительно крутит паль-

цем у виска. «Интересно, как этот... вожатый снимал с ежа шкурку? Не так-то просто её стащить...» – между тем продолжила седая дама, закулив новую сигарету, и Вася понял, что Марина права.

Рисунки оценивала другая, столь же почтенного возраста особа, но широкая в кости, с тяжёлым громким шагом, как будто вместо ног у неё были гири, и ледяным, пронизывающим собеседника взглядом. Когда её познакомили с Васей, тот сразу вспомнил, как наврал редакционной кадровичке про то, сколько раз в неделю должен являться на работу. Вася закосил один библиотечный день, которого не существовало в природе. Он подумал, что окажись на месте легковерной кадровички эта тётя с заиндевевшими глазами, номер у него бы не прошёл. Перед ней робел даже главный редактор. Заслышав чугунную поступь в коридоре, он выходил из кабинета, чтобы почтительно поздороваться. «Смотрю, угрелся ты тут с бабьём, – заметила угрюмая особа Васе, когда они остались в кабинете одни, – следи за шириной!» «В каком смысле?» – растерялся Вася, только полчаса назад уединившийся с Мариной в подсобном помещении среди швабр, синих рабочих халатов, горнов, барабанов, коробок с пионерскими пилотками и знамён. Самое большое и мягкое, бордовое рытого бархата с золотыми буквами (должно быть, *переходящее*) знамя у них *перешло* на списанный письменный стол. «В прямом», – ответила суровая бабушка, указав пальцем на Васину ширинку, которая и впрямь, к его ужасу, ока-

залась расстёгнутой. Нечего и говорить, что детский анекдот про ёжика применительно к ней показался ему совершенно неуместным и даже кощунственным.

В редакции Васе объяснили, что пожилые дамы всегда вызывались за письмами в разные часы. Им нельзя было встречаться, потому что эти встречи заканчивались плохо. Одна из них просидела при Сталине двадцать лет в лагерях как контрреволюционерка и дочь белогвардейца. Другая до пенсии работала в *органах*, а именно в многотиражной газете центрального аппарата НКВД-МГБ-КГБ на Лубянке, рисовала там карикатуры на *врагов народа* и *мягкотелых следователей*. Но лагерница почему-то была убеждена, что мнимая карикатуристка сама была следователем, причём отнюдь не мягкотелым.

Детскими стихами занимался суетливый, спившийся, с трясущимися руками поэт с замотанным в шарф горлом. Он носил его в любую погоду, наверное, даже спал, не разматывая. Шарф походил на петлю, а сам поэт – на сорвавшегося с виселицы бродягу из романов Диккенса. Его, как рассказали Васе, постоянно хотели выгнать (он вечно путал адреса, имена детей, терял письма), но как только доходило до дела, начинали жалеть. Всем без исключения юным стихотворцам этот, с позволения сказать, литконсультант, советовал внимательно изучать статью Маяковского «Как делать стихи?» и ознакомиться с поэмой Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». В одном из писем оба совета у него, как капель-

ки ртути слились в *«Как делать стихи на Братской ГЭС?»*. Руководительница детского литературного объединения из куйбышевского Дворца пионеров, получив ответ и обдумав неожиданное предложение, направила в редакцию благодарность *«За вклад журнала в пропаганду советской культуры и коммунистического отношения к труду среди школьников младшего и среднего возраста»*. Поэта можно было вызывать за письмами в любое время. Иногда, когда он был, как сам выражался, «при деньгах», то есть в выплатные дни, он угощал девушек и Васю коньяком из фляжки, которую профессионально прятал при малейшем шуме в коридоре, и шоколадными конфетами. «Запомни этот день, сынок, – сказал он однажды, нацеживая Васе прыгающей рукой в стакан коньяк. – Скоро тебе будет этого не хватать, – кивнул на изгибисто со сладостно-неприличным стоном потянувшуюся (руки за голову, ноги широким циркулем), да так и застывшую в этой позе Свету. Окно было открыто, и запах пота практически не ощущался. Потом поэт перевёл затуманенный взгляд на Марину, явившуюся в тот день на работу в мини-юбке. Раскинувшись в кресле, она курила сигарету, забросив ногу на ногу, так что мини-юбка на ней превратилась в юбку-невидимку. – Очень, очень скоро, сам не заметишь, – прошепел одними губами поэт, – поэтому запоминай, запоминай...» «А ещё я запомню... твой шарф», – неизвестно почему подумал Вася, но оказалось, что произнёс эту странную фразу вслух. «Точно! – обрадовался поэт, посмотрел на

Васю, как на внезапно (и неожиданно) произнесшего нечто умное младшего брата. – Когда-то он был разноцветный с блёстками. А сейчас?» «Трудно сказать», – пожал плечами Вася. Ему было противно смотреть на прожжённый, в пятнах и табачных крошках шарф. Но он почему-то смотрел. У шарфа не было цвета. «Это жизнь. Поэтому... запоминай, – повторил поэт, – и... лети, беги, ползи». «Куда?» – удивился Вася. «Не знаю, но прочь, прочь, пока... дышишь, пока он тебя не придушил», – полез в карман за фляжкой поэт. Рука прошла мимо, но он этого не заметил, продолжая нащупывать фляжку в воздухе, как если бы воздух был большим и пустым карманом.

За каждый ответ литконсультанты получали по рублю. Иногда, если в редакции обнаруживались неизрасходованные по статье «работа с письмами» деньги, а ответы радовали логикой и лёгкостью слова, гонорар увеличивался на двадцать пять копеек. За два ответа, произвёл в первый же день нехитрые математические вычисления Вася, можно было купить бутылку водки «Кубанская» – два рубля шестьдесят две копейки – или, доплатив двадцать копеек, бутылку белого вина «Цинандали» – за два семьдесят.

Раскладывая ответы по конвертам, Вася, случалось, вникал в их содержание. Ему было трудно отделаться от мысли, что ремесло литконсультанта (особенно когда он читал то-ропливые, часто в винных и помидорных потёках, а один раз с присохшим хвостиком кильки отписки поэта) ему очень

даже по плечу. Через неделю работы в редакции Вася сам был готов сочинить статью: «*Как делать ответы на письма?*» Даже и на Братской ГЭС.

Его час пробил, когда узница сталинских лагерей (волокита длилась не один год) наконец получила от компетентных органов разрешение на поездку во Францию к сестре. Год назад эта увезённая в Гражданскую на последнем пароходе из Крыма сестра овдовела, и дети определили её в дом престарелых под Парижем. В её комнате, сообщили они, вполне можно временно установить вторую кровать для тётки из СССР. Французские родственники обещали оплатить пострадавшей в сталинские годы *тёте* двухнедельное (с питанием) пребывание в доме престарелых и обратный билет в Москву.

Марина уговорила главного редактора поручить отвечать на письма Васе. Редактор вытащил наугад из прошитого белой верёвкой утреннего почтового мешка несколько конвертов с детским почерком, велел Васе подготовить по всей форме (на редакционных бланках) ответы и принести ему. Внимательно изучив ответы и даже кое-что исправив (стандартное обращение «*Дорогой друг!*» он почему-то заменил на официально-фамильярное «*Здравствуй, Дима Соловьёв!*»), редактор сказал, что до конца месяца Вася будет отвечать бесплатно, так сказать, набивать руку, а с первого августа его оформят по договору на месяц стажёром отдела писем. По рублю, уточнил редактор, мы тебе всё равно не сможем пла-

тить, у тебя нет законченного высшего, попробуем по семьдесят пять копеек, если бухгалтерия пропустит. Он вызвал кадровичку и дал ей указание немедленно (задним числом) расторгнуть договор с отъезжающей в Париж старой белогвардейской шпаной и заключить с подающим надежды молодым журналистом и комсомольцем Василием Объёмовым. «Надеюсь, ты комсомолец?» – с подозрением посмотрел на Васю редактор. «Заместитель комсорга группы», – бодро повысил свой общественный статус забывший, когда платил последний раз взносы, Вася. Как же так, хлопнула глазами кадровичка, она же через месяц вернётся! Тогда заключим с ней новый договор, разозлился редактор, а с этим... расторгнем!

Потом во сне писателя Василия Объёмова пошёл снег. Был он совсем не холодный и очень крупный. Приглядевшись (во сне у человека возраста нет), *Вася* увидел, что это не снежинки падают с неба, а... белые пионерские письма. За время практики Вася ответил, наверное, на сотни, но во сне (повторно) по его душу поступили лишь *избранные места из переписки* с юными сочинителями.

Рассказ о «красивом взрослом марсиане» (его прислала девочка, называвшая себя, видимо на марсианский манер, вибрирующим, как железная пила, именем Матилла). Васе не очень понравился этот «взрослый марсиан», встречавший Матиллу после окончания занятий в парке. Он посоветовал девочке обязательно рассказать о марсиане маме, записать-

ся в кружок юных астрономов, а главное, заняться спортом, желательно самбо, чтобы в случае чего...

Написанная недобрым извилистым почерком «Баллада о Снегуре в трёх тетрадах. Первая тетрадь: Юность Снегура». Вася, не дожидаясь второй тетради, когда Снегур возмужает, посоветовал автору не прикидываться пионером, а отправить балладу в «Новый мир», «Октябрь» или «Юность». Где, демагогически вопрошал Вася, должна увидеть свет «Юность Снегура», как не в популярном молодёжном журнале «Юность»? Автор, однако, оказался непрост. Видимо, уже (с предсказуемым результатом) рассылал «Снегура» по разным редакциям. Он него пришёл грозный ответ, графически исполненный дымящимися от гнева печатными буквами, напоминающими готовые к извержению вулканы. Располагались вулканические буквы почему-то поперёк разлинованной страницы, волнисто выдранной из какой-то древней амбарной книги: *«Да проклянет тебя Солнце, литконсультант Василий Объёмов! Слишком ничтожен объём твоей глупой башки, чтобы вместить величие Снегура – сына Вечного Льда и Бессмертного Неба!»* Некоторое время Вася размышлял над половой принадлежностью Бессмертного Неба. Мелькнула даже озорная мыслишка выяснить этот вопрос у автора, но Вася не решился, страшась позвать почтовую бую. А ещё он некстати вспомнил маркшейдера с отрицательно заряженными спермо-ионами.

Почтовый снег между тем набирал силу. На Васю посы-

пались конверты от *Каспара Хаузера*. Пионер с непривычными именем и фамилией присылал в редакцию какие-то странные, *не пионерские*, а по большому счёту и не советские рассказы. О мостах в Ленинграде, под которыми он якобы наблюдал ночные круговые крысиные собрания, когда крысы, подняв вверх хвосты как антенны, рассаживаются вокруг своего вожака сужающимися концентрическими кругами, мерно, как серые маятники, раскачиваются из стороны в сторону, а потом внезапно разрывают этого вожака в клочья. О вечерних полётах на воздушном шаре над остывающим куполом Исаакиевского собора. О путешествии в страну украденных зонтиков, где сутки измерялись молниями, часы – громом, а секунды – ударами капель дождя по жестяным подоконникам. Вася втянулся в переписку с Каспаром Хаузером (тот жил под Москвой, в Коломне, письма туда-сюда летали как птицы) и, помнится, любопытствовал: как же измеряются в стране украденных зонтиков годы и века? «Засухой и Великим Потопом», – пришёл озадачивающий ответ. Даже о своей неразделённой любви к прекрасной физкультурнице в сиреневом, как сумерки, купальнике поведал Васе Каспар Хаузер, закончив печальный (как и положено) рассказ стихотворными строчками: *«Одиночество в любви – бег на месте. Догони!»*

Какие-то задел в Васиной душе тайные струны пионер Каспар Хаузер. Вася, вопреки неписаным правилам литконсультанта, написал ему – на двух страницах! – личный ответ.

Он рассказал, как сам в детстве, когда родители уезжали на дачу, бродил до рассвета по переулкам вокруг заключённой в подземную трубу реки Самотёки, ложился ухом на асфальт, пытаясь услышать её *зов*, потом вставал, смотрел на «запутавшиеся в проводах звёзды». Даже о шарфе-петле на шее поэта-литконсультанта (одного неглупого, но слабого человека, так Вася замаскировал в письме коллегу) написал он Каспару Хаузеру. «Дело не в шарфе, – бодро выстукивал Вася на раздолбанной, извлечённой из подсобки, где хранились горны, барабаны и переходящее знамя, пишущей машинке „Olympia“, – а в том, что этот неглупый, но слабый человек сам не хочет (боится) стянуть его со своей шеи. Одиночество – не бег на месте, – продолжал он. – Одиночество – редкий шанс спокойно обдумать свою жизнь и принять правильное решение. Стяни с себя этот шарф, Каспар, и ты увидишь, что мир полон жизни! Он твой, Каспар! Возьми его! Ты сможешь!»

Закончив ответ, Вася вложил его в большой и гладкий (для официальных писем) конверт, крупными буквами написал адрес, посмотрел на часы. Было без пятнадцати два. Вася заторопился в *экспедицию* (место, куда со всех редакций стекалась готовая к отправке почта). Из экспедиции её забирали два раза в день – в два и в шесть. Васе хотелось, чтобы его письмо ушло к Каспару Хаузеру в два, а не в шесть. «Куда летишь?» – остановил взволнованного Васю на лестнице ответственный секретарь журнала – молодой писа-

тель по фамилии Иванов.

Они как-то выпивали и закусывали жареными перепёлками в подвальной мастерской художника на Башиловской улице. Иванов был с Васей приветлив и дружелюбен. Марина смотрела на них, отошедших к окну, как-то озабоченно, покусывая губы и без конца разглаживая невидимую складку на свитере. В окно требовательно долбили клювами голуби. Похоже, художник их прикармливал, а потом, вероятно, ловил, и они превращались в тех самых перепёлок, которыми его будто бы снабжал друг-охотник. Художник готовил из них очень вкусное жаркое. Иванов хлопал Васю по плечу, восхищался красотой и умом Марины, говорил, что Васе дико повезло, что она обратила на него внимание, вспоминал Гертруду Стайн и Хемингуэя, Зою Богуславскую (Вася не знал, кто это) и Андрея Вознесенского. Потом залпом выпил фужер вина, обглодал хрустящее крылышко перепёлки, ободряюще подмигнул Васе и ушёл, скользяще поцеловав на ходу Марину в щёку. Вася остался, но Марина в тот вечер была рассеянна, отказалась угощаться жареной перепёлкой, отвечала как-то невпопад. У Васи сложилось впечатление, что мыслями она не здесь и не с ним.

«Охота тебе с ним париться?» – спросил Иванов, разглядев (его трудно было не разглядеть) адрес на глянцевом конверте.

«С кем?» – удивился Вася, в недоумении опустив глаза на конверт. Он не был похож на банный веник.

«Да с этим придурком, который подписывается Каспаром Хаузером?»

«А... что?» – пожал плечами Вася, выигрывая время для осмысления слова «подписывается».

«Второй год долбит нас бредовыми рассказами, хоть бы сменил псевдоним, что ли? За кого он нас принимает?» – продолжил Иванов.

«За кого?» – Вася обычно так переспрашивал преподавателей на зачётах и экзаменах, когда не вполне понимал, что они имеют в виду, но чувствовал подвох. Иногда срабатывало. Мнимая тупость оборачивалась благом. Преподаватели подсказывали против собственной воли.

«За неграмотных идиотов, – объяснил Иванов, – которые не знают, кто такой Каспар Хаузер!»

«Собственно, об этом я и...» – пробормотал Вася.

«Не регистрируй его письма, – посоветовал Иванов, – сразу в корзину!»

«Спасибо, что предупредил. Это последнее, – помахал в воздухе конвертом Вася. – Не пропадать же семидесяти пяти копейкам!» – подмигнул ответственному секретарю.

Но пошёл не в экспедицию, а на пятый этаж в библиотеку журнала «Огонёк», где схватил с полки «Энциклопедический словарь»:

«Каспар Хаузер (нем. Kaspar Hauser / Casparus Hauser) 30 апреля 1812-17 декабря 1833. Известный таинственной судьбой найдёныш, одна из загадок XIX столетия, „Дитя

Европы“... В психиатрии синдромом Каспара Хаузера называется психопатологический симптомокомплекс, наблюдаемый у людей, выросших в одиночестве и лишённых в детстве общения... Необычная судьба Хаузера нашла отражение в нескольких произведениях литературы и кинематографа. Поль Верлен написал от его имени стихотворение „Каспар Хаузер поёт“ (1881), отождествив себя с героем. В 1909 году Якоб Вассерман написал роман „Каспар Хаузер, или Лениость сердца“, взяв за основу романтическую историю о королевском происхождении Хаузера. В Каспаре Хаузере автор вывел чистого сердцем человека, доброго и благородного от природы – своего рода вариант Алёши Карамазова. Чистым, непосредственным восприятием своего героя Вассерман проверял догмы религии, нравственные установления, человеческие взаимоотношения. Простодушные ответы Каспара ставят в тупик и приводят в отчаянье его наставников. Брошенный в водоворот жизни, он испуган огромным и жестоким миром, открывшимся перед ним. Так и не сумев привыкнуть к людям, к их морали, философии, он остаётся одиноким и непонятым».

Вассерман, Вассерман... Вася захлопнул словарь, озадаченный вербальной близостью собственного имени и неизвестного немецкого писателя, о существовании которого он, как и о настоящем Каспаре Хаузере, ещё десять минут назад не знал. Зато знал, что положительная реакция Вассермана на взятую из вены кровь означает сифилис. У Каспара Хау-

зера была отрицательная реакция на мир, то есть он был... здоров? Весь мир болен, а он один... здоров?

Вернувшись в кабинет, Вася спрятал письмо в ящик стола. Он решил отправить его, как отрезать, в последний день практики.

Неожиданные мысли о сифилисе, похоже, нарушили пространственно-временной континуум сновидений. Писатель Василий Объёмов вдруг (опережающе) увидел себя на трибуне конференции по состоянию русского литературного языка, но, может, и какой-то другой, но точно литературной, потому что в первом ряду (сомнений быть не могло) сидели пожилые бородатые писатели с выраженным похмельным синдромом на лицах. Им-то в потные лбы, в растрёпанные бороды, в прокуренные жёлтые зубы и бросил Объёмов не стих, облитый горечью и злостью, но выстраданные (в жизни) и отшлифованные (во сне) до кристальной ленинской ясности слова: *«Писатель достигает высшей свободы самовыражения не тогда, когда его книги никому не нужны, а когда ему некому дать прочитать только что законченное произведение!»* Самое удивительное, что одна из бород успела выкрикнуть, а Объёмов успел услышать: *«У Лескова – „Некуда“, а у тебя – „Некому“, но ты не Лесков! Ты...»*

Вася (во сне) так и не узнал, кем стал (во сне же), то есть почти что в снегу (детских писем?), писатель Василий Объёмов, кроме того, что не стал Лесковым. Устремив взгляд поверх писательских лысин и бород, он увидел очередной

падающий белый конверт. Если прежние конверты спускались вниз медленно и плавно, как бы подчиняясь неслышной (небесной?) гармонии, этот летел вниз страшно и неотвратимо, как белый (керамический, то есть усовершенствованный?) нож гильотины. Вася едва успел от него увернуться.

Вскрывать гильотинный конверт необходимости не было. Он вскрылся сам, не дожидаясь машинки. Можно было лишь радоваться, что при этом гильотинный конверт не вскрыл (а ведь мог!) Васю.

Он сразу вспомнил его, густо заклеенный марками «*XXIII Международный конгресс по пчеловодству. Москва. 1971. Почта СССР. 6 коп.*». На фоне жёлтых сот пчела выбирала нектар из полевого цветка. По верхней части конверта как будто протянулась медовая полоса. Помнится, когда он укладывал письмо на железную ладонь вскрывающей машинки, Васе показалось, что пальцы у него стали липкими, а по кабинету распространился запах мёда, пересиливший запах пота Светы (к тому времени он уже не казался Васе горячим и будоражащим).

Но он сразу забыл про состязание запахов, сняв конверт с машинки, вытащив письмо и прочитав название... *сочинения на свободную тему*, так определил жанр присланного текста автор. Воистину детское литературное творчество было шире существующих стереотипов.

Много лет назад стажёр отдела писем журнала «Пионер» Вася Объёмов, воспользовавшись советом ответственного

секретаря, не регистрируя, отправил в корзину это с позволения сказать сочинение, подписанное (опять псевдонимом!) *Белая Буква*. После Каспара Хаузера Васю стали злить тексты, подписанные псевдонимами. Он не порвал в клочья произведение Белой Буквы (по нежным завиткам почерка и изображению длинноволосой в короне принцессы на обороте последней страницы Вася определил, что автор – девочка), но изошрённо пропустил его через машинку. Превращённое в бумажную вермишель письмо как будто и не приходило в редакцию. Хватит мне одного Каспара Хаузера, решил тогда он, задумчиво глядя на скучающую за своим столом Свету. Он обратил внимание, что в пасмурные дни запах пота усиливался и становился совершенно нестерпимым перед началом дождя. Сейчас, судя по всему, дело шло к грозе. Ей бы на метеостанцию, подумал Вася, работала бы живым барометром, чего она здесь сидит?

Он не знал, изменяются ли во времени и пространстве, то есть *во сне*, некогда прочитанные и забытые тексты. Восставшее из небытия, из бумажной вермишели сочинение на свободную тему возникло перед его глазами. Вася словно читал его с компьютерного экрана. Рукописи не горят, вспомнил (во сне) и дополнил великого Булгакова Вася: они сжигают тех, кто думает, что сжёг их, или... превратил в бумажную вермишель. А ещё они, усмехнулся он, перейдя на современный телевизионный жаргон, зажигают сквозь пространство и время. Он попытался зажмуриться (во сне) и чуть было не

задохнулся от... давно забытого запаха девичьего пота, как если бы в небе (по Булгакову!) собиралась жестокая гроза, а Света стояла у Васи за спиной и тыкала его носом в компьютерный экран: «Читай!»

Весеннее волшебство

(сочинение на свободную тему)

Берлин. 30 апреля (понедельник). 15:10. Рейхсканцелярия. Комната в подземном *Фюрербункере*. Бетонные стены. Простая железная кровать. Письменный стол. Над столом портрет композитора Вагнера у рояля в чёрном сюртуке. За столом пожилой человек в полувоенном кителе песочного цвета читает заверенный печатями на гербовой бумаге документ – *Testamentsurkunde* (*Завещание*). На столе – позолоченный пистолет «вальтер» калибра 7,65 с золотой монограммой «А. Н.» на рукоятке.

Читает, поправляя очки, вслух: *«Всё, чем я владею, если это вообще имеет какую-то ценность, – принадлежит партии. Если она перестанет существовать – государству. Если же будет уничтожено государство, то какие-либо распоряжения с моей стороны будут уже не нужны...»*

Кладёт страницы на стол, передёргивает затвор, снимает

пистолет с предохранителя. Подносит ко рту. Опускает, морщится. Подносит к виску. Вопросительно смотрит на портрет Вагнера. Согласно кивает, как бы получив одобрение. Продолжает читать:

«Исполнителем завещания назначаю... (пауза). Ему разрешается передать всё, что представляет ценность, как память обо мне или необходимо для скромной буржуазной жизни моим сестре и брату, а также матери моей жены и моим преданным сотрудникам и секретаршам...»

Положив завещание на стол, снимает очки, убирает в карман френча. Берёт пистолет, встаёт из-за стола, садится на кровать. Подносит «вальтер» к виску. Зажмуривается.

Громкий стук в дверь. Слышны женский и мужской голоса. Мужской голос звучит громко и требовательно. Человек в песочном кителе убирает пистолет в карман брюк, встаёт с кровати, открывает дверь. На пороге его личный адъютант – штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше. За его спиной Ева Браун. Человек в песочном кителе вопросительно смотрит на Гюнше.

Гюнше: В это трудно поверить, мой фюрер, но это случилось. Они здесь.

Гитлер: Русские?

Гюнше: Нет, мой фюрер. Инопланетяне. В саду канцелярии приземлился их корабль. По виду они... настоящие арийцы, говорят по-немецки. Но могут и по-русски. Вокруг корабля непроницаемый для снарядов купол. Это надо ви-

деть, мой фюрер, снаряды отскакивают от него, как мячи от стенки.

Гитлер: Могут и по-русски? (*Пауза.*) Ну да, сейчас в мире только два языка. Но оба обречены. Мир будет говорить на английском.

Гюнше (*волнуясь*): Их общественное устройство схоже с нашим. Они одобряют германские расовые законы и идеологию. Они там... у себя взяли власть несколько тысяч лет назад. Их цивилизация непобедима. Они могут всё! Один из них положил руку на срезанную снарядом яблоню, ту, которую вы посадили весной тридцать третьего – «*Бребурн*», она мгновенно пошла в рост, зацвела, я видел, как вокруг неё летали пчёлы, а потом... на ветках появились яблоки. Вот (*протягивает два больших спелых яблока*). Попробуйте, они очень вкусные.

Гитлер (*глядя на яблоки*): Что им надо?

Гюнше: Они прилетели засвидетельствовать своё уважение и попрощаться.

Гитлер: Почему так поздно?

Гюнше (*растерянно*): Поздно... что?

Гитлер: Для нас поздно. Если они могут всё.

Гюнше: Доктор Геббельс сразу спросил, какую помощь они готовы нам оказать. Смогут ли они отбросить русских хотя бы за Одер?

Гитлер: Он не спросил, почему они не помогли нам раньше – под Москвой, под Сталинградом, под Курском? Хотя

бы под Будапештом!

Гюнше: Они... наблюдали. Изучали людей, так они сказали. Они очень благодарны нам за... *материал*, который мы обеспечили им на полях сражений в неограниченном количестве. Они внимательно следили за генетическими, фармакологическими и антропологическими исследованиями наших учёных в... лабораториях Биркенау, Берген-Бельзене, особенно в Штутгофе. Они восхищены полученными результатами. Они считают, что это прорыв в будущее. И ещё сказали, что мы им очень помогли.

Гитлер (*равнодушно*): Поблагодарите их за яблоню и закройте, наконец, дверь. Уберите фрау Гитлер! Войдёте сразу после... Если увидите, что... Вы знаете, что надо сделать. И уведите, наконец, отсюда фрау Гитлер!

Гюнше (*торопливо*): Мой фюрер, я не сказал главного. Они готовы спасти...

Гитлер (*раздражённо*): Немецкий народ? Рейх? Европу? Вселенную?

Гюнше: Доктор Геббельс задал им и этот вопрос, мой фюрер. Они ответили, что человечество пока не готово принять наши идеалы. Преждевременная и необъяснимая победа Германии в войне, по их мнению, нарушит ход истории. Германия слишком истощена, чтобы принять ответственность за судьбу человечества. Мы опередили время, слишком быстро и далеко забежали вперёд. Надо остановиться, подождать. Через сто лет мир изменится, и тогда...

Гитлер: Меня не интересует, что будет через сто лет!

Гюнше: Они хотят спасти вас, мой фюрер.

Гитлер (*с иронией*): Каким образом? Спрячут в Антарктиде на секретной базе этого сумасшедшего Ричера? Возьмут на Марс или откуда там они прилетели? У меня мало времени! Я не могу ждать... сто лет.

Гюнше: Доверьтесь им, мой фюрер! Они всё предусмотрели. Это единственная возможность сохранить вашу бесценную жизнь для нашего общего дела! (*Вталкивает в комнату... точную, как отражение в зеркале, живую копию Гитлера*).

Гитлер (*оценивающе рассматривает двойника*): Да, этот хорош, гораздо лучше остальных. Даже руки дрожат в моём ритме. И пигментное пятнышко на шее... У него тоже свистит в правом ухе? Отто, мы уже обсуждали этот вариант. Я не изменю своего решения. (*Исступлённо кричит.*) Оставьте меня в покое!

Гюнше (*выхватывает пистолет, наводит на Гитлера*): Нет, мой фюрер, вы пойдёте со мной! Они ждут. Ваша жизнь нужна несчастной Германии! Я не позволю вам...

Гитлер (*спокойно и с иронией*): Осторожно, Отто, не урони яблоки. И потом, ты ведь можешь (*быстро обходит двойника, встаёт с ним рядом*) нас перепутать.

Гюнше: Это невозможно, мой фюрер, они сделали вашу копию из вестового, убитого утром русским снарядом. (*Кладёт яблоки на стол.*) Труп не успели убрать. Он здесь для

того, чтобы... (*подходит к двойнику*). После того, как я положу ему руку на плечо (*кладёт руку на плечо двойника*) и нажму вот здесь... (*нажимает большим пальцем на подбородок*).

Двойник молча садится на кровать, достаёт из кармана позолоченный «вальтер» с монограммой «А. Н.» на рукоятке, стреляет себе в висок, заваливается на кровать. Из простреленного виска льётся, пульсируя, кровь, окрашивая подушку и покрывало.

Гюнше: Вы не можете здесь оставаться! Вас больше нет! У нас (*смотрит на часы*) осталось три минуты. С вами... (*переводит взгляд на труп двойника, поправляется*) с ним сделают всё, как вы приказали. Канистры с бензином в саду под яблоней. Мы должны уйти, мой фюрер, пока сюда не вернулась фрау Гитлер.

Гитлер: Ты сказал (*кивает на двойника*), они сделали его из убитого вестового. Почему им не сделать нового вестового из меня? Из меня бы получился неплохой... вестовой.

Гюнше (*в отчаянье*): Мы теряем время, мой фюрер! Возможно, они сделают из вас вестового, но не здесь и не сейчас! Они не хотят оставлять вас в Берлине, даже превратив в другого человека, потому что вы всё равно погибнете. Шансов нет. Они знают будущее! Они могут взять с собой только одного! Они бы взяли нас всех, но это невозможно. Я не знаю, какую они используют энергию, но она у них на исходе. Так они объяснили.

Гитлер (*пристально смотрит ему в глаза*): Они сказали, что будет с тобой, Отто?

Гюнше (*растерянно*): Я... не спрашивал, мой фюрер. Моя жизнь не имеет значения, когда решается судьба Германии!

Гитлер (*уверенно*): Ты будешь жить долго. Я рад за тебя, Отто. Ты своими глазами увидишь, во что превратится Европа, и может быть...

Гюнше (*умоляюще*): Время!

Гитлер: Вы обещаете, штурмбаннфюрер, что...

Гюнше (*перебивает*): Обещаю! Какое бы решение ни приняла фрау Гитлер. Возьмите яблоки, мой фюрер!

Гитлер: Одно. Второе отдайте Еве.

Выходят из бункера.

(Занавес)

Белая Буква (7 «Б» класс, школа № 169, г. Ленинград)

Компьютерный экран, с которого Объёмов (во сне) читал *сочинение* под издевательским названием «Весеннее волшебство», подобно занавесу в новомодном инновационном театре разорвался на колышущиеся ленты с прыгающими по ним, как блохи, белыми буквами. Какие-то эти буквы пытались воспроизвести слова, но Объёмов не мог ухватить их пульсирующий смысл. Это его огорчало, потому что он понимал, что упускает нечто важное. Сосредоточившись, он не столько прочитал, сколько угадал, но, может, и *додумал* два блошинных тезиса: «*Необходима моральная чистка национального организма*» и «*Космополитическая созерцательность должна исчезнуть*». Бред, вздохнул (во сне) Объёмов, моральная чистка ещё туда-сюда, но космополитическая созерцательность – основа любого художественного творчества, как она может исчезнуть? Потом до него дошло, что это не ветер колеблет ленты занавеса, а... ревёт сирена.

Писатель Василий Объёмов открыл глаза. В гостиничном окне вибрировала ночная радуга мигалок милицейских (каких же ещё?) машин, несущихся по улице. Началось, успел подумать Объёмов, проваливаясь в стремительно истаивающий полусон перед окончательным пробуждением.

Полусон зачем-то вернул его на конференцию. Объёмов обнаружил себя стоящим на трибуне перед угрюмым

и недобрым, длинным, как вытянутое к горизонту поле, залом. В зале сидели уже не писатели, а другие люди с расплывающимися, как блины на сковородке, лицами. Определить их национальную и профессиональную принадлежность не представлялось возможным. Это были люди вообще, если угодно, человеческий материал, из которого кто-то что-то всегда хотел сшить, руководствуясь собственными мыслями о качестве материала и моде. Объёмов мучительно старался зацепиться хоть за чей-нибудь заинтересованный взгляд, но встречные взгляды ускользали от него, как если бы глаза людей в бесконечном зале были на коньках или роликах. На трибуне перед Объёмовым лежал блокнот, который он судорожно перелистывал, пытаясь отыскать тезисы. Иногда на писателя Василия Объёмова во время публичных мероприятий накатывал необъяснимый ступор, и он не мог *слова ступить* без заранее подготовленных тезисов. Удивительно пусто было и сейчас в его голове. Одна только глумливая фраза прыгала в ней, как (опять!) *блоха*: «Вас, ребята, весеннее волшебство точно не обрадует, потому что оно по вашу душу!» Неведомый портной как будто кроил (шил!) из его сновидений тревожный водевиль с элементами футурологического триллера. В последнее время этот странный литературный жанр вошёл в моду. Даже во сне, огорчился Объёмов, я бегу за модой, хотя точно знаю, что не догоню. Поздно. А ребята бегут от весеннего волшебства, но не знают, что от него убежать невозможно. Догонит.

Изначальное недоверие к сонным (он пока и сам не знал, какие они, но догадывался!) тезисам Обьёмова, как стекло-видное тело, мумифицировало зал, и Обьёмов ясно осознавал, что отчуждение между ним и залом непроницаемо и непреодолимо. Его слова опережающе превращались в тот самый бисер, каким (вместе с добрыми намерениями) вымощена дорога известно куда. Да как же они пустили меня на трибуну, искренне недоумевал Обьёмов. Он уже знал, как начнёт выступление. С цитаты из Горького: *«Великая заслуга перед жизнью и людьми – сохранить в душе истинно человеческое в дни, когда торжествует обезумевшая свинья»*.

...А потом он вдруг увидел себя на скамейке у своего деревенского дома в Псковской области. Он сидел, умиротворенно поглаживая по крепкой холке соседскую собаку Альку. Она частенько забегала к нему с краткими дружественными визитами, но главным образом чего-нибудь перехватить. Хозяин Альки – бывший совхозный тракторист, а ныне безработный селянин Жорик – сильно выпивал и (соответственно) слабо кормил Альку. Несколько дней назад Обьёмов варил в огромной кастрюле борщ, и вовремя подоспевшей Альке досталась огромная костолыжина, предварительно очищенная Обьёмовым от мяса, но не от плёнок с хрящами. Из-за неё, помнится, не получалось прикрыть кастрюлю крышкой. Кость упрямо таранила крышку, как торпеда дно корабля. Алька, радостно урча, убежала с лохматой капяющей костью, а теперь вот зачем-то снова её притащила.

Кость была обглодана до зеленоватой (видимо, Алька грызла её в траве, а может, использовала траву как гарнир) белизны. Намёк понял, поднялся со скамейки Объёмов, пошёл в дом к холодильнику. Ничего подходящего (для Альки) там не нашлось. Пришлось отрезать кусок буженины. Она была свежая, розоватая, в нежном светящемся сале, только утром привезённая с приграничного белорусского рынка в Езерищах. Рука дрогнула, непроизвольно уменьшив Алькину порцию. Алька, лязгнув зубами, проглотила буженину, Объёмов едва успел отдёргнуть бережливую руку. Облизнувшись, Алька подняла с земли зелёную кость, отошла к ней к забору и там, носом, как совком, старательно прикопала её под кустом малины. После чего, повеселев, дежурно попрощалась, лизнув Объёмову руку, и серой стрелой полетела по своим делам. Но, не добежав до калитки, вдруг остановилась, развернулась и, склонив голову, уставилась на Объёмова. Тому даже показалось, что складки собрались на шерстяном собаьем лбу, так внимательно и задумчиво она на него смотрела. Потом Алька тяжело вздохнула, вернулась к кусту малины, раздражённо выкопала кость и, уже не оглядываясь, убежала с ней в зубах, нервно помахивая хвостом, то есть (если верить кинологам), буруеваемая сомнениями и обидой. Самое удивительное, что и Объёмов обиделся на Альку. Как же так, это ведь он дал ей эту кость, а сейчас ещё угостил восхитительной бужениной! Как ей в голову могло прийти, что...

...Наконец, он обнаружил в блокноте злополучные тези-

сы, перевёл дух, но язык во рту как будто окаменел. Длинный, полный угрюмыми людьми с блинными лицами (только самонадеянный шутник мог назвать их ребятами... если только не с пёсыми головами), зал показался Объёмову уже не полем, а объёмистым бассейном, а тезисы – внешне безобидным бытовым прибором, вроде электробритвы, фена или... машинки для вскрытия писем. Прочитать тезисы было всё равно, что швырнуть в объёмистый бассейн электрический прибор! Объёмов не раз видел, как это делают в фильмах плохие ребята. Правда, даже отпетые кинематографические злодеи не замахивались на бассейны, ограничивались ванными, где имели несчастье находиться их обнажённые, а потому ограниченные в оказании сопротивления жертвы. При этом у Объёмова не было сомнений, что безликие ребята в полевом зале обречены независимо от того, услышат они его тезисы или нет. Не было у него сомнений и в том, что убойная электрическая волна настигнет его на трибуне и он тоже противоречиво погибнет вместе с обречёнными ребятами, которых хочет предостеречь. Проигнорировав его предостережение, они ещё успеют его опережающе осудить за человеконенавистнические, по их мнению, тезисы. Это было совершенно невозможно, но Объёмову вдруг показалось, что в зале сидят (или стоят)... подсолнухи.

Раз так, приободрился он, чего бояться, худшее, что мне грозит – пробуждение...

«Смешение рас и народов, – откашлявшись, обратился

Объёмов к растительной аудитории, – можно уподобить стихийно-насильственному переливанию крови без предварительного её клинического анализа на резус-фактор, группы и различные заболевания. Результат подобного переливания: в лучшем случае – бесплодие, то есть жизнь без продолжения жизни, в худшем – смерть». Эх, огорчённо посмотрел в зал, знал бы раньше, что вы растительные, привёл бы примеры из биологии – из Менделя, Вавилова, дедушки Мичурина, да хотя бы... Лысенко! «Ничем хорошим, – быстро продолжил Объёмов, не обращая внимания на зловещую тишину в зале, – это не закончится ни для тех, *кому* перелили, ни для тех, кого перелили. (Надо бы – привили!) Каждый народ, – Объёмов с изумлением обнаружил, что это последний тезис (ему почему-то казалось, что их больше), – выбирает свой путь в небытие. Русский народ уходит в небытие, не шелохнувшись!» И вдруг после паузы – не по писанному, а *от себя* (лающим каким-то, словно это он был с пёсией головой, голосом): «Потому что небытие, тьма, хаос, смерть – колыбель новой жизни! Чтобы по-настоящему воскреснуть и преобразиться, нужно по-настоящему умереть!»

Возможно, подсолнухи в объёмистом бассейне тоже не шелохнулись. Объёмов забыл, точнее никогда не задавался вопросом: как действует на растения электричество? Полусон, подобно космополитической созерцательности на разодранном с прыгающими белыми блохами-буквами занавесе, исчез, растворился в моторном гуле и лязгающих шлепках

по асфальту. Поднявшись с кровати и приблизившись к окну, Объёмов увидел, что по шоссе мимо гостиницы на приличной скорости движется колонна бронетранспортеров, а замыкают её два танка. Сверху они напоминали гигантских поторапливающих жаб.

Наверное, учения, пожал плечами Объёмов, до западной границы рукой подать, НАТО, враг не дремлет, ночная проверка боеготовности.

Он разобрал кровать, разделся, повозившись с кнопками (пару раз хотелось грохнуть об пол!) на радиочасах, установил будильник на восемь утра. Потом сунулся задвинуть шторы, но тут же испуганно отшатнулся от окна. Перед гостиницей, размалывая воздух винтами, висел вертолёт, обшаривая прожектором, как длинной жёлтой рукой, фасад.

Объёмов на мгновение ослеп, забился пойманной рыбой в занавесках. Прожектор пронзил его лучом, как остройгой. Объёмов присел на корточки, опережающе ощущая себя нарушителем... чего? Он и сам не знал, но на всякий случай затаился в неудобной позе, пережидая, пока жёлтая рука отлепится от окна. Господа, это уже слишком, пробормотал он, опасливо выглядывая из-за шторы.

Из чрева вертолёта тем временем свесились канаты. По ним заскользили вниз спецназовцы в блестящих шлемах и в каких-то серебристых, как у космонавтов, скафандрах. Неужели, изумился писатель Василий Объёмов, будут... штурмовать гостиницу? Так сказать, в учебных целях.

Он выключил свет, лёг в кровать. Хотелось сделаться незаметным, а ещё лучше – несуществующим. Объёмов успел заметить короткие автоматы у спускающихся по канатам из вертолётa спецназовцев. Близость вооружённых людей его всегда тревожила. Определённо в дружественной Белоруссии что-то происходило. Зачем, вспомнил Объёмов, они читали по радио Свифта? Какая была в этом необходимость? Заменяли Свифтом *«Над всей Испанией безоблачное небо»*? Куда понеслась колонна бронетехники и примкнувшие к ней танки?

Объёмов подумал, что, окажись он в Умани в августе сорок первого года, он бы ни за что не пошёл на базар, где Гитлер приценивался к подсолнухам. А вот дед Каролины пошёл и удостоился благосклонного внимания фюрера. Можно сказать, обзавёлся охранной грамотой. Это тот самый парнишка, которого Гитлер трепал по голове, должно быть, говорили немцы, румыны, полицаи и прочие коллаборационисты, выпуская его из гестапо после облав. В конце войны, конечно, это уже не работало, точнее, работало в сторону возмездия. Было дело, наверное, врал, вытирая кровавые сопли, на допросах уже в советских комендатурах парнишка, но я вцепился в его подлую руку зубами, в меня стреляли, я чудом уцелел, две недели прятался в подсолнухах... Потому-то, угрюмо и самокритично подумал Объёмов, он получает от немцев и хохлов (две!) пенсии, и шустрая завуч в очочках души в нём не чаёт... Меня-то уже давно все бабы

послали, а пенсия...

И, как говорится, сглазил.

В дверь негромко, но требовательно постучали. Привычно струсив и растерявшись, Объёмов всё же сообразил, что спецназовцы не могли так быстро добраться до его номера, а если и смогли, то не стали бы размениваться на вежливый стук, а вышибли бы её ногами. Похлопав по карманам куртку – на месте ли паспорт? – задавленно прохрипев: «Одну минуту!», Объёмов надел штаны, открыл дверь.

– Не ждал? – отодвинув его плечом, в номер решительно шагнула... неужели... Каролина? – Сам пригласил! – тихо (без лязга) прикрыла за собой дверь.

– Я? – опешил Объёмов.

Внешность Каролины претерпела существенные изменения. На ней был белый до плеч парик. Каролина походила в нём на вернувшегося из боя и снявшего шлем с забралом немолодого средневекового рыцаря-альбиноса. На носу угнездились небольшие кругленькие очки. Похоже, преследующая в Умани деда завуч (по Фрейду) не давала ей покоя.

– Девятьсот седьмой номер. Сам сказал.

– Да? И что? – Объёмов случайно наткнулся взглядом на своё отражение в зеркале. Ему стало стыдно. Никакого женского интереса увиденное в зеркале существо не могло пробудить даже у... зачем-то надевшей парик и очки буфетчицы Каролины.

– А то! Снимай штаны и ложись! – Она торопливо стянула с себя чёрные брюки, оставшись в растянутых (повседневных, по инерции отметил Объёмов) трусах. Помнится, похожие (с поправкой на тогдашние стандарты женского белья) трусы были на учётчице писем журнала «Пионер» Свете, когда Вася Объёмов, задерживая дыхание, чтобы не потерять сознание от крепкого запаха девичьего пота, раздевал её... Он уже не помнил, где, но точно не в мастерской художника-перепелятника. В университетской общаге на Ленинских горах, вот где! В соседней комнате ещё гремел *Jesus Christ Superstar*, Хелен Редди выводила ангельским голосом: «*I don't know how to love Him*», а Васе кощунственно слышалось: «*I don't know how to love her*».

За брюками последовала блузка. Грудь у Каролины выглядела более привлекательно, нежели исхоженные, в голубой сосудистой сетке, ноги. Ну да, рассеянно подумал Объёмов, они всё время на марше, а грудь... она барыня, отдыхает...

Немного подумав, Каролина освободилась и от трусов. Растянутые, они легко слетели на пол перед дверью. Объёмов нагнулся, чтобы поднять, но Каролина запретила: «Пусть лежат, где лежат!» Шмыгнула в кровать под одеяло. Кто же поверит, на лету просканировал её обнажённое тело Объёмов, что ты блондинка, кого ты хочешь обмануть дурацким белым париком? Подложившая под голову сразу две подушки Каролина сейчас напомнила ему... притворившегося бабушкой волка из сказки Шарля Перро. А я, стало

быть, Красная Шапочка, грустно подумал он. Какой из меня охотник?

– Очки... – пробормотал, входя в роль, Объёмов. – Они... чтобы лучше меня видеть?

– Я вообще-то обхожусь, – пояснила с подушек Каролина. – Только когда смотрю накладные или читаю. Быстрее! Ложись! – Ей явно было не до сказок.

– Я это... в трусах, – зачем-то проинформировал буфетчицу Объёмов. Поведение Каролины было странным, но чего в нём точно не звучало, так это сексуального мотива. Наверное, так раздевались разнополые узники концлагерей перед газовой камерой, подумал, снимая штаны, Объёмов. Только ведь она... не собирается умирать, посмотрел на тревожно прислушивающуюся к звукам в коридоре Каролину, у неё есть какой-то план... Всё это игра, а я...

– Совсем не нравлюсь? – скользнула оценивающим очкастым взглядом по объёмовским трусам Каролина. Никакого (где надо) самовозрастающего объёма внутри них не наблюдалось. Тишь да гладь, можно сказать, космический вакуум. Вопрос быстрой и страстной близости на повестке дня не стоял. – А ещё такая фамилия... – нервно хихикнула Каролина.

– Какая? – присел на край кровати Объёмов.

– Какая-какая, Объёбов, – обхватила его за плечи, потащила под одеяло Каролина.

– Объёмов, – поправил Объёмов.

– Какая разница. – Каролина, впилась в его губы сухим, как перестоявшая на буфетном столе салфетка, поцелуем.

За дверью слышались приглушённые мужские голоса, шум лифта. Потом снова стало тихо. Лифт проехал мимо девятого этажа.

– Всё должно быть натурально, – скомкала поцелуй, как использованную салфетку, Каролина, – иначе они не поверят. Но я не уверена, что у нас получится. Когда ты последний раз спал с бабой?

– Давно, – честно признался Объёмов, – коплю силы.

– И как копилка? Сильно пополнилась? – поинтересовалась Каролина.

– Хочешь проверить? – До Объёмова вдруг дошли нелепость и какая-то издевательская карикатурность происходящего. Главное же – отведённая ему унижительная роль. – Какого хрена? – заорал он, увернувшись от попытки Каролины снова заткнуть ему рот сухой салфеткой. – Чего тебе надо? Зачем ты здесь? Что всё это значит?

– Лёшка, мой муж, – едва слышно, умоляюще приставив палец к губам и указывая другой рукой на дверь, прошептала Каролина. – Он... здесь. Прилетел. Только он... не Лёшка.

– Прилетел? – Объёмов, как ни странно, мгновенно вспомнил семейную историю Каролины – вдовы погибшего, точнее, пропавшего без вести шестнадцать лет назад пилота, вместо которого на военном кладбище похоронили манекен в форме майора ВВС Белоруссии. На его пластмассовое лицо ещё положили фотографию растворившегося в небе Лёшки. Героический муж Каролины велел напарнику катапультироваться, а сам увёл самолёт подальше от посёлка в поле с подсолнухами. Люди не пострадали, а вот подсолнухам, наверное, досталось. Но останков Лёшки, если верить Каролине, среди горящих обломков не обнаружили. Дальше пошёл какой-то конспирологический бред про испытание секретного то ли биогравитационного, то ли пространственно-временного оружия.

– Они, – снова прислушалась к происходящему за дверью Каролина, – его ищут. Не могут найти, поэтому хотят через меня.

– Кто? – по инерции уточнил Объёмов. До него дошло, что всё это не игра, а если игра, то с безвыигрышным (для него и Каролины) результатом. Лес рубят – головы летят. Лес почему-то увиделся встревоженному писателю Василию Объёмову не как положено – в виде деревьев, а... в виде обречённо помахивающих головами подсолнухов.

– Наши и... ваши, – с неодобрением посмотрела на Объёмова Каролина, словно на нём лежала доля ответственности за «*ваших*», которых он, кстати, никогда не считал *своими*. Напротив, как мог, клеймил и разоблачал в публицистических статьях. Да хотя бы за наплевательское отношение к русскому языку и литературе! Собственно, для того он и притащился на раздолбанном «додже-калибере» из псковской деревни на конференцию в Лиду, чтобы в очередной раз прокричать об их безумном воровстве и беспредельном презрении к народу в... пустоту.

– Войсковая операция? – Объёмова поразило, как быстро и осмысленно он включился в обсуждение невозможного события. – Откуда он прилетел? И... на чём?

И не просто включился. Писатель Василий Объёмов уже опережающе работал с сюжетом. Лёшка в последний момент успел катапультироваться. Приземлился на другом поле. Быстро закопал в землю парашют и... исчез на шестнадцать лет. А сейчас объявился! Естественно, его хотят поймать и допросить. Кто главный свидетель с транзитным статусом соучастника преступления? Естественно, Каролина! Может, они вместе все эти шестнадцать лет шпионили... на Россию, на кого же ещё? Или... на Украину? Это хуже. А я... покрылся холодным потом Объёмов, – ясен пень, связной, хорошо, если не резидент! Но она сказала «*ваши*», торопливо внёс облегчающее собственную участь уточнение в сюжет: если это совместная с «*нашими*» войсковая операция,

значит, я... не шпион, а соратник! У Белоруссии и России это... как его... Союзное государство! Сволочь, с ненавистью посмотрел на ответно сверлящую его сквозь очки волчьим взглядом Каролину, зачем ты пришла, что тебе надо, зачем впутываешь меня в эту историю?

– Самолёт приземлился на базе вчера ночью на самой дальней, заброшенной полосе, – быстро заговорила Каролина, телепатически уловив невысказанные упрёки Объёмова и сделав правильный вывод, что откровенность – единственное средство удержать его от панического бегства, неотвратимого катапультирования из кровати, а может, и из гостиничного номера. – Радары не засекли, он из какого-то особого материала или чем-то покрыт, не знаю, а так – точная копия того, который разбился. Пастух стадо мимо гнал к ангарам, там вокруг ещё зелёная трава, увидел, рассказал в посёлке. Дети побежали. Потом военные приехали, оцепили, привезли аппаратуру. Везде в кабине – Лёшкины отпечатки пальцев...

– Ты сама-то его видела? – перебил Объёмов.

– Я сразу заметила, что за мной следят. Один злобный такой, с бородой, ты сидел, он в кафе заходил. И про тебя я тоже сначала подумала... А тут дочь позвонила, говорит, на съёмную хату нельзя, уже вычислили...

– Дочь? – Объёмов сам начал удивляться своей памяти. – Из Умани?

– Из Одессы. Я Олеську сразу вызвала, как узнала про са-

молёт, сказала, чтобы никому ни слова и только на попутках. Если меня возьмут, так хоть она ему поможет. А я потом... С Украиной пока граница без проблем. Они её точно в лицо не знают. Имя до паспорта у неё было – *Ольга*, а отчество я по деду ей сделала – *Андреевна*. Фамилия вообще по первому мужу, тоже хохол был, только из Полтавы, и тоже сволочь, другую бабу в дом привёл, стал с ней жить при живой жене. Так что никаких концов.

– Ты его видела? – повторил Объёмов, пытаясь вспомнить, где он недавно слышал про *Олеську*. Вспомнил! Не слышал, а читал. Объявление с отрывными телефонными хвостиками на фонарном столбе на гостиничной автостоянке: «*Олеся. 27 лет. Ахнешь! Звони!*»

Уже ахнул, мрачно подумал Объёмов, и... пусть анонимно, но позвонил. Зачем-то спросил:

– Сколько ей лет?

– Что? – удивилась Каролина. – Кому?

– Олеське.

– Тридцать. А... что?

– Убавила, – покачал головой Объёмов.

Они притихли, услышав рассыпчатый каблучный стук по голой коридорной плитке.

В дверь легко, как бросили горсть сухих горошин, постучали.

– Открой, – попросила Каролина. – Это она. Что-то случилось. Мы не договаривались, что она сюда.

– Не успею одеться, – растерялся Объёмов, вновь утрачивая (хотя бы мысленный) контроль над реальностью.

– Быстрее! – поторопила Каролина. – Я же голая!

– Хорошо, – пожал плечами Объёмов, удивляясь неожиданной стыдливости своей... подруги? Свесил ноги с кровати. Страх, возбуждение, желание что-то выяснить, куда-то бежать вдруг сменились в нём дебильной покорностью и обездвиженностью. Вот так и несчастная Россия, успел подумать, нащупывая вялыми, как снулые рыбы, ступнями на полу тапочки Объёмов, кто на неё рывкнет, ошарашит, наговорит с три короба, под того она и ложится... Особенно если он... то есть она, покосился на Каролину, в парике и очках... Так сказать, в пассионарном прикиде. Бери голыми руками.

– Ну! – поторопила Каролина.

Объёмов, поправив трусы и слегка втянув живот, открыл дверь. В номер, едва его не сшибив, влетела Олеська. Объёмов уже устал чему-либо удивляться, а потому совсем не удивился, что она была натурально (видимо, это у них семейное) голая, но в туфлях на металлических шпильках, как ведьма Гелла из бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Впрочем, в отличие от Геллы, Олеська всё же небрежно прикрывалась прижимаемым к груди ворохом одежды, из глубины которого пружинисто свесился бюстгальтер. Качающимися своими чашечками он напомнил Объёмову маятник сюрреалистических часов, отсчитывающий... что?

– По объявлению? – ухмыльнулся, рассматривая бесстыдницу, Объёмов.

– Что? – растерялась та, даже выронила одежду. – Мы... разве договаривались?

– Быстрей! В постель! – скомандовала с подушек Каролина. – Сейчас придут!

Олеся размашистыми крепкими бёдрами, как бульдозер подтаявший сугроб, легко передвинула Объёмова на кровать под приглашающе откиннутое Каролиной одеяло.

– *Поехали!* – Каролина сорвала с Объёмова трусы, заваляла на себя, обхватив ногами, как клешнями, а над ними (каким-то образом, наверное, затылком сумел рассмотреть писатель Василий Объёмов) римской статуей встала Олеся, больно уткнув в копчик Объёмову острый железный каблук. Если и есть на свете мужик, успел подумать он, способный поехать в данных обстоятельствах, то это точно не я!

В следующее мгновение раздался оглушительный треск. В номер как на серфинговой доске влетел двумя ногами на двери раскоряченный спецназовец в серебристых доспехах с автоматом и в чёрном обливном сферическом шлеме. Следом вошли люди в штатском. В одном из них – в широком, как саван, белом плаще – Объёмов узнал злого бородача, ошибочно принятого им в кафе за *завязавшего* (с алкоголем) писателя, участника конференции по современному состоянию русского литературного языка. Второй снимал происходящее на видеокамеру. Третий – непрерывно щёлкал фото-

аппаратом, озаряющим вспышкой интимно – лампой на прикроватной тумбочке – освещённый гостиничный номер. Он конечно же успел запечатлеть (для истории?) порнографическую скульптурную группу. Если бы не выставивший дверь спецназовец с автоматом наперевес, ворвавшуюся в номер команду можно было принять за белорусское подразделение полиции нравов. Объёмов читал, что такая существует в Европейском сообществе, наряду с Интерполом, но постсоветские государства почему-то не хотят с ней сотрудничать.

– Ой! – Олеся прыгнула под одеяло, больно зацепив железным каблуком Объёмова, едва успевшего перевалиться на спину. Скульптурная группа распалась, точнее, перешла в горизонтальное положение.

Злой бородач в широком плаще (сейчас, впрочем, он выглядел не столько злым, сколько озадаченным) включил весь имеющийся в номере свет.

В настенном зеркале напротив кровати Объёмов увидел три торчащие из-под одеяла головы: свою со слипшимися в отвратительный гребень седыми волосами по центру, справа – очкастую в белом парике голову Каролины, слева – русую, щекастую Олеси. Боже милостивый, ужаснулся он, что могут подумать обо мне... гэбисты? Спецназовца в серебристых доспехах и в обливном шлеме он как низшего по званию (и, вероятно, по интеллекту) в расчёт не принимал. Трёхголовая зеркальная картина навела его на гнусные, более того, оскорбительные для русского фольклора аналогии. Себя пи-

сатель Василий Объёмов увидел в образе... Ильи Муромца. Пoblёскивающую круглыми выпуклыми очками Каролину – в образе почтенного Добрыни Никитича, кажется, наставника святого равноапостольного князя Владимира, а молодую шаловливую хохлушку Олеся – в образе застенчивого, но отважного Алёши Поповича. Как лихо она запрыгнула на кровать, загарпунила Объёмова острым железным каблук! Интересно, запоздало встревожился он, что она собиралась делать дальше, куда хотела вонзить каблук? Получалось, что гэбисты, контрразведчики, или кто там они, подошли вовремя, в очередной раз, подтвердив известный тезис Гёте, что сила, предназначенная творить зло, иной раз свершает благо. Тридцать лет и три года, испуганно вжался задом в матрас Объёмов, Илюша то ли сиднем сидел, то ли лежнем лежал на постели, а потом... как вскочил! И... пошли клочки по закоулочкам... Неужели... приш(ж)порила каблучница?

Но в данный момент стремительно вживающемся в образ Ильи Муромца писателю Василию Объёмову нечего и думать было о сопротивлении... Идолищу поганому. Поехать, как рекомендовала Каролина, не получилось, а вот пойти трусливо-позорным клочком по пенитенциарному закоулочку... ещё как!

Над кроватью витал сильно сдобренный косметикой запах пота, невольно заставивший Объёмова вспомнить Свету. Однажды во время грозы, когда находиться в кабинете

стало невозможно, Марина отправила Свету домой, пообещав разобрать за неё оставшуюся почту. Как только Света ушла и дышать стало легче, Марина позвала Васю к её столу, выдвинула ящик, ткнула пальцем в теснящуюся там се-ребристую рать запечатанных дезодорантов. «Ей без конца дарят, дарят, – в отчаянье произнесла Марина, – почему она ими не пользуется? – И после паузы: – Наверное, мстит окружающему миру». «За что?» – спросил Вася. «Всегда есть за что», – грустно вздохнула Марина. Если бы сейчас здесь была Света, подумал, нашаривая под одеялом трусы среди бры-кающихся женских ног, писатель Василий Объёмов, поганому гэбистскому идолищу пришлось бы надеть респираторы. Станным образом он уподобил Свету коньяку или виски, набирающему с возрастом в дубовых бочках крепость и аромат. Такой у него получился неэстетичный *оксюморон*.

– Чем обязан, милостивые государи? – хрипло каркнул Объёмов из кровати, подбадриваемый тычками Каролины.

– Проверка документов, – мимолётно мазнул в воздухе красным удостоверением бородач. – Здание заблокировано. Есть сведения, что в гостиницу проникла группа террористов. Производится осмотр помещений. Тепловизор показал, что в номере находятся три человека. Террористы могли захватить заложников. Действовать пришлось быстро. Так что не обессудьте.

Спецназовец тем временем осмотрел туалет, заглянул в шкаф, за портьеры, даже, крикнув и переломившись в доспе-

хах, сунулся под кровать. Разогнувшись, доложил: «Чисто!»

– Свободен, – сказал борода.

– Руки на одеяло, урод! – вдруг заорал спецназовец, натренированным глазом отследив невидимую пододеяльную объёмовскую возню с трусами.

– Ай! – взвизгнула Олеся. – Я описалась!

Борода, пропустив мимо ушей не понравившуюся Объёмову новость, тем временем основательно устроился в кресле возле журнального столика, смачно шлёпнув по стеклу папкой с бумагами.

– Я... могу одеться? – поинтересовался Объёмов. В трусах он почувствовал себя увереннее. В голове даже зашевелились забавные мысли о нарушении прав человека и каком-то ордере, который будто бы кто-то должен был ему предъявить.

– Отдыхайте, товарищ, – с отвращением посмотрел на него борода. – После проверки вас переселят в другой номер, и вы... сможете продолжить. Где ваш паспорт?

– В куртке, если я не ошибаюсь, во внутреннем кармане, – потянулся к стулу Объёмов.

Закончивший осмотр его сумки (одной рукой он брезгливо перебирал застиранные носки и футболки, другой зачем-то снимал это на видеокамеру), *оператор* его опередил, прохлопал куртку свободной ладонью, выложил из кармана всё, что там было, на стол. Неужели, зауважал оператора Объёмов, решил документально – для истории – запе-

чатлеть нищету русского писателя? Или, мелькнула другая мысль, его морально-нравственное падение? Сразу вспомнились благообразный седой, аскетично худощавый (наверное, соблюдал все православные посты) министр юстиции Ковалёв, гонявший в бассейне голых девиц; упитанный прокурор Скуратов, *бессильно* (несмотря на старание других – сухопутных – тружениц сферы сексуальных услуг) раскинувшийся на широкой кровати в похожем гостиничном номере. И пусть, злобно подумал Объёмов, пусть покажут по телевизору, хоть кто-то узнает о моём существовании! Только ведь не покажут...

– Удостоверение секретаря Союза писателей России, социальная карта москвича, пенсионная книжка, приглашение от министра культуры Белоруссии на научно-практическую конференцию по современному состоянию русского литературного языка, – перечислил извлечённые документы борода.

– Мой доклад открывает конференцию, – с достоинством добавил Объёмов.

Борода неторопливо перелистал, одновременно проверяя на плотность (не пропустил ни одной страницы!), паспорт, отложил его в сторону. Прочие документы не вызвали у него большого интереса, а на красно-клеёнчатое с торчащим, как копьё, пером (Объёмов писал таким, обмакивая его в чернильницу, полвека назад в школе), заполненное от руки удостоверение секретаря Союза писателей России с расплыв-

шейся фиолетовой печатью вообще посмотрел с недоумением. Зато обратил внимание на привезённые Объёмовым в надежде подарить их уважаемым людям, допустим, белорусским издателям, литературоведам, а ещё лучше – профильным чиновникам, книги. Особенно долго он изучал издание, обложку которого украшала фотография свирепо оскалившегося, бритого наголо Объёмова в чёрной с черепами и скрещёнными костями косынке на голове. На ней настоял художник издательства, уверенный, что это положительно скажется на продажах. «Агрессия и мужество, – помнится, заявил он, – это то, чего смертельно не хватает русскому читателю. Если нет в тексте, так пусть хоть будет на фотографии». Вдоволь налюбовавшись на агрессивного и мужественного Объёмова, постранично протрусив книги за растопыренные обложки, борода переключился на Каролину.

Фотограф, порывшись в её сумке (Объёмов и не заметил, что она пришла с сумкой), протянул бороде паспорт.

– Грибоедова Анна Дмитриевна, – произнёс борода, сверился с какой-то бумагой. – Доктор искусствоведения, ведущий специалист Российского государственного института архитектуры и дизайна по ландшафтам восточноевропейских усадеб семнадцатого – девятнадцатого веков. Вы, как я понимаю, тоже приехали на конференцию?

– И уже об этом сожалею! – раздражённо отозвалась с кровати Каролина нервно-интеллигентным, каким прежде, во всяком случае с Объёмовым, не разговаривала, голосом. –

Вы так встречаете в Белоруссии всех гостей или только тех, кто из России?

– Объясните своё присутствие в номере господина Обьёмова, – вежливо попросил борода.

– И не подумаю, – надменно ответила Каролина, она же, как только что выяснилось, Грибоедова Анна Дмитриевна, о чём уведомил Обьёмова очередной пододеяльный кулачный тычок в бок. – Я не обязана обсуждать с вами, уважаемый... не знаю вашего имени-отчества и звания, свою личную жизнь. Василий Тимофеевич Обьёмов – мой старый и добрый знакомый. В отчёте можете написать: *«Присутствие в номере объяснила необходимостью согласования позиции российской делегации по итоговой резолюции конференции»*.

– Давно носите парик, Анна Дмитриевна? – поинтересовался борода. Похоже, ему было плевать на многолетнее доброе знакомство доктора искусствоведения и секретаря Союза российских писателей.

– После второго курса химиотерапии. Тогда же мне пришлось обменять паспорт. Видите ли, болезнь вносит некоторые изменения во внешность человека.

– А предполагаемая близость смерти раскрепощает в желаниях, – продолжил борода. – Не сомневаюсь, вы победите болезнь, Анна Дмитриевна. Энергии, желания полноценно, по-молодому жить в вас хоть отбавляй. К тому же современная медицина творит чудеса.

– Где-то, – мрачно уточнила, поправив очки, Каролина, –

только не в России.

– Мы осмотрели ваш номер на... пятом, кажется, этаже. Можете возвращаться. Если, конечно, захотите, – поднялся из-за стола борода.

– Я знаю эту лярву! – вдруг подал голос спецназовец в обливном шлеме, указав на Олесю. – Работает по вызову. Приезжает с Украины. У неё месяца два назад был привод, расцарапала морду клиенту из Ставрополя. Мужик пригнал в Лиду вагон шерсти, а она...

– Не п..., – подала голос Олеся. – Он забрал заявление.

– Паспорт, – потребовал борода.

– В плаще, – кивнула на ворох одежды на полу Олеся.

Фотограф нагнулся, извлёк, порывшись в косметичке, синий с трезубцем (или пикирующим соколом – и такое объяснение национального символа слышал Объёмов от знакомых украинцев) паспорт.

– Что вы здесь делаете в... два часа ночи, *Олеся Ондриївна*? – поинтересовался, взглянув на часы, борода.

– Забежала на огонёк, – хмуро объяснила Олеся. – Он, – кивнула на Объёмова, – меня пригласил, я пришла, а они тут с этой... очкастой, ещё и рак у неё, твою мать!

– Пригласил, – повторил борода, – каким образом?

– Простейшим, – пожала плечами Олеся. – По телефону.

– А вот это мы сейчас уточним! – неожиданно оживился, даже потёр руки, как алкаш при виде наполненной рюмки, борода. – И если звонок не подтвердится... Ваш театр трёх

актёров... Как Станиславский – не верю! Что он говорил? Театр начинается с вешалки. Я вас всех повешу!

Оператор протянул бороде побитый, морально и физически устаревший телефон Объёмова.

– Как только переехал границу, сразу списали триста рублей, – обиженно произнёс Объёмов, – не знаю, можно ли еще с него звонить.

– Когда вы с ней разговаривали?

– Последний звонок, – ухмыльнулся Объёмов, – не ошибётесь.

Зачем я ей позвонил, он вспомнил гостиничную автостоянку, неверный свет фонаря, объявление на столбе. *Ночь, улица, фонарь, Олеся...* Ведь я и в мыслях не держал её снять... Провидение. Объёмов вдруг резко успокоился, как если бы воочию увидел ангела-хранителя, распростёршего над ним, точнее над кроватью с тремя головами, непробиваемые крылья. Русская воля, подумал Объёмов, это провидение, которое есть Промысел Божий. Провидение – вне логики, вне математического и любого другого анализа и расчёта. В этом загадка России, которую никто не может разгадать. Россия – единая и неделимая часть Провидения.

Из вороха одежды Олеси на полу пробила телефонная мелодия. Борода положил телефон Объёмова на стол. Мелодия смолкла.

– Прошу вас соблюдать осторожность, Василий Тимофеевич, – поднялся из кресла борода. – Я скажу дежурному ад-

министратуру, чтобы вам предоставили другой номер.

В дверной пролом просунулся чёрный шлем спецназовца:

– На этаже чисто, только в девятьсот первом какая-то пьянь облевалась. Думали, не дышит, скорую вызывали, вроде оклемался. Вонь дикая. Здоровый, гад, еле перевернули, пузо как унитаз, жрёт, видать, в три горла.

– Это Серафим Лупан, – обрадовался (чему?) Объёмов, – поэт из Молдавии, он сочиняет стихи для детишек.

– Вы видели здесь этих людей? – Борода развернул лист бумаги с нечётким изображением молодой, похожей на певицу Софию Ротару женщины и удивительно напоминающего Гагарина авиационного майора в фуражке. – Это старая фотография, – объяснил борода. – Сейчас они выглядят иначе.

– Майора точно не видел, – твёрдо ответил Объёмов, – а вот даму... Она работает в кафе? Если не ошибаюсь, вы туда тоже заходили. Эти люди преступники?

– Заходил. Но тогда мы не были уверены, что это она. Мало информации, столько лет прошло. Три раза разводилась, гражданка Литвы, каждый год осенью устраивается в Лиде на временную работу в кафе или столовые. Где сейчас живёт, с кем общается – неизвестно. Мы направили в Вильнюс срочный запрос, но не факт, что они быстро ответят. Прочесали все работающие точки общепита. Хотим задать ей кое-какие вопросы, но не можем найти, – развёл руками борода. – Закрыла в двадцать три ноль-ноль кафе и как сквозь землю. Если вдруг увидите, попросите позвонить вот по это-

му номеру, – вырвал из блокнота лист, положил на стол. – Это в её интересах. Они не преступники, – ещё раз задумчиво посмотрел на ксерокопию нечёткой фотографии, – скорее объекты странного научного эксперимента с неясными последствиями. Спокойной ночи!

Через полтора часа, лёжа на широкой многоподушечной кровати в просторном двухместном номере (борода не обманул!), писатель Василий Объёмов вспоминал рассказ Лермонтова «Тамань». Направляющийся к месту службы *«с подорожной по казённой надобности»* Печорин случайно угодил в сообщество контрабандистов и огрѣб там по полной. Его обворовали (Объёмов судорожно проверил, на месте ли бумажник). Ему непрерывно лгали (это Объёмова нисколько не удивило, поскольку ложь являлась естественной реакцией организованной криминальной группы на проявляемый к её деятельности сторонний интерес). Наконец, молодая контрабандистка не дала Печорину и чуть его не утопила. То есть она отказалась переформатировать посредством секса опасное любопытство Печорина в дорожное love affaire, сохранила верность главному контрабандисту Янко. Тот, в свою очередь, не взял в лодку боготворившего его слепого подростка. «На что ты мне?» – сказал Янко. Мир контрабандистов был прост, жесток и мобилен. Печорину повезло, что он уцелел.

И мне повезло, нагло примазался к *герою нашего времени* Объёмов. Я тоже уцелел, мне всего лишь не дали, спасибо, что не обворовали и не утопили. Хотя тезис «не дали» нуждался в уточнении. Объёмов, когда Каролина обхватила его венозными ногами-клешнями, а скульптурная (поразмыш-

ляв, Объёмов *разжаловал* её из римской статуи в советскую гипсовую парковую девушку, правда, без весла) Олеся воткнула в спину острый железный каблук, не поехал, потому что это было невозможно. А потом уже и не просил, чтобы дали, потому что поезд ушёл.

Несколько часов назад, заселяясь в гостиницу, усиленно ужиная в кафе, писатель Василий Объёмов находился в одной реальности. Сейчас – в другой. Он, как и Печорин, угодил в неё случайно, путешествуя по казённой надобности. Но если Печорин не возражал сыграть с контрабандистами на собственную жизнь, у пугливого и осторожного Объёмова подобное желание отсутствовало напрочь.

Потому-то, привычно, точнее, с облегчением вздохнул он, Россия и катится в пропасть. Объёмов всегда с готовностью (а как иначе?) делился своими персональными недостатками с Родиной-матерью. Когда-то давно он даже написал статью о русском народе под названием «*Коэффициент бездействия*». По мнению Объёмова, в русском народе коэффициент бездействия зашкаливал. Власть это прекрасно понимала, с давних времён вводила в стране различные ограничения для представителей других этносов, типа черты оседлости, квот на поступление в университеты, занятие управленческих должностей в преимущественно русских уездах. Энергичный инородец, попадая в расслабленную русскую среду, ощущал себя чем-то вроде испанского конкистадора среди не знающих цены золота (применительно к России –

природных богатств) и сильно пьющих индейцев. Но власть в России (ещё одна её загадка) никогда не ощущала себя русской, а потому не была последовательной в мерах по преодолению бедственного положения русского народа. Она охотно принимала от народа единственное подношение – покорность, злоупотребляла им и в итоге (после национальной, социальной и территориальной катастрофы в одном флаконе – слоган популярной в девяностые годы рекламы шампуня с кондиционером) сдавала страну новой власти – ещё менее русской по мироощущению. Хорошо, если не победительно антирусской, как большевики-ленинцы в семнадцатом году. Или, наоборот, плохо, потому что большевики всё-таки собрали Россию. А вот смогли бы её собрать белогвардейцы или Учредительное собрание? Объёмов был склонен согласиться с фельдмаршалом Минихом, утверждавшим в середине восемнадцатого века, что Россия – страна, управляемая напрямую Господом Богом, потому что иначе объяснить её существование невозможно. Похоже, Промысел Божий относительно России и был самой главной её загадкой, выражаясь языком Канта – загадкой в себе.

В признании этого очевидного факта нет ни гордыни, ни презрения к народу, прислушался к тишине за дверью (гостиница после спецназовского налёта словно вымерла) Объёмов, потому что русский народ – это я! Или (если угодно) я тоже. И если я, писатель и... общественный деятель (ведь пригласили в Белоруссию на конференцию!), столько

лет пребываю в ничтожестве и бездействии, значит, в таком состоянии пребывает вместе со мной русский народ! Народ – *красный гигант* или *белый карлик*, Объёмов запутался в астрономических дефинициях, пришла на память даже такая, как... *чёрная дыра*, а я – крохотный астероид на его орбите. Мой удел – крутиться вокруг (прежде) красного гиганта, (потом) белого карлика, (сейчас)... неужели чёрной дыры? Или оторваться и улететь в никуда – в сон, в вековую мечту, в несбыточную надежду. Мы спим, покосился на лишние подушки в головах Объёмов, и видим во сне личность, готовую принять на себя бремя действия. Иначе Россия, он вспомнил свой недавний позор, не поедет. Как она поедет, если мы (Объёмов снова с дрожью вспомнил Каролину в очках и в парике) сами себя обхватили жилистыми ногами, а в задницу нам (вспомнил Олесю) вонзила железный каблук подлая воровская власть? Проснуться шансов нет. Будильники отключены и спрятаны. Власть делает всё, чтобы (богатырский?) сон превратился в кому, чтобы Илюша (Муромец) никогда не проснулся. Единственная (несбыточная?) надежда, что некая появившаяся неизвестно откуда личность взломает сон, как подводная лодка арктический лёд. И тогда бремя действия волшебным образом преобразуется во время, точнее, радость действия пробудившихся масс. Тогда зазвонят кимвалы новой общественно-экономической формации, кровь оросит надежду. А потом... отважно заглянул в будущее Объёмов, после великой победы или сокрушительно-

го поражения (это две разведённые во времени и пространстве стороны одной медали) надежда погаснет, растворится в ничтожестве подлого повседневного бытия, чтобы по прошествии времени снова воссиять и воззвать! Только вот, отстранённо и холодно подумал писатель Василий Объёмов, крови для её орошения с каждым разом будет требоваться всё больше и больше. Кровь в этой радости всегда идёт по нарастающей. Революция – смеющийся вампир, вспомнились ему слова отправившего немало людей на гильотину и в итоге самого сложившего голову под её косым ножом якобинца Сен-Жюста. Объёмов как будто увидел растянувшуюся в ночном небе кровавую ухмылку, как некогда Алиса в Зазеркалье увидела улыбку Чеширского Кота. А ещё, продолжил мысль Объёмов, внутри массового действия сама собой отольётся новая форма для отливки новых людей. Кто-то отольётся для радости, а кто-то уйдёт в отвал. И не будет между людьми радости и людьми отвала мира и сотрудничества, а будут боль, ненависть и... новая революция. Вампир всегда смеётся последним, потому что смеётся и над победителями, и над побеждёнными. А ещё – потому что по своему усмотрению меняет их местами.

Ты, строго, как Родина-мать с плаката, спросил себя писатель Василий Объёмов, готов отлиться в новой форме? И сам же себе (Родине-матери) ответил: нет! Значит, пробуждение – не факт, предательски подумал он, переворачиваясь на другой бок. Кто сказал, что растворение в свободном ни-

чтожестве, умноженном на усиленный ужин, не жизнь? Не всем охота отливаться в новой форме, идти на корм смеющемуся вампиру, пусть даже это неперемное условие грядущего... величия России. На кой хрен лично мне такое величие?

«Где ты?» – вдруг, как библейский Моисей в окрестностях неопалимой купины, услышал Объёмов страшный для русского человека вопрос. Всё, перепугался он, слуховые галлюцинации, рассеянный склероз! Но, собравшись с духом, как Моисей же мужественно ответил: «Я здесь!», а потом уже от себя честно закрыл тему: «Между формой и отвалом. И нет воли, Господи, выбрать».

Коэффициент бездействия, резко опустил планку странных литературно-обществоведческо-религиозных изысканий писатель Василий Объёмов, уравнивается в формуле бытия (государства, народа, отдельно взятой личности) коэффициентом риска. В характере Печорина коэффициент риска едва ли не превосходил аналогичный у контрабандистов. Коэффициент риска у Объёмова был величиной блуждающей, почти неразличимой внутри математической погрешности. Печорин ничего не выиграл, но сломал контрабандистам игру. Объёмов тоже ничего, кроме отвращения и презрения со стороны гэбистов (он надеялся, что им не придёт в голову отправить видеозапись постельного допроса в Союз писателей России), не выиграл. Но и не дал проиграть Каролине, Олесе, свалившемуся через шестнадцать лет

с неба майору Лёшке и... загадочному деду из Умани, если, конечно, тот был в курсах. Хотя, может, дед ни сном ни духом, шлифовал себе пятки напильником да поджидал, укрепившись виагрой, очкастенькую завучиху.

Игра контрабандистов была проста и, в принципе, понятна Печорину. Игра собравшихся полтора часа назад в гостиничном номере людей была Объёмову непонятна. Похоже, и сами игроки не вполне её понимали, действовали, как говорится, по прецеденту. Власть в лице охраны стремилась нейтрализовать потенциальных носителей секретной (о чём?) информации. Каролина и Олеся – убереечь от власти пропавшего без вести (по вине власти, кого же ещё?), но спустя шестнадцать лет загадочно объявившегося мужа и отца. Печорин был лишним человеком для контрабандистов, подрывавших экономику николаевской России. Объёмов оказался нелишним для избегавших контактов с госбезопасностью объектов странного научного эксперимента с неясными последствиями. Кажется, так выразился борода. Объективно лишний человек Печорин принёс пользу России. Что принёс России патриот Объёмов, пока было неясно. А что если, мелькнула нехорошая мысль, патриот сегодня в России и есть даже не лишний, а сверхлишний человек? Народ, сама собой продолжилась мысль, тоже лишний, но его пока слишком много.

Я не струсил, рискнул, ещё как рискнул, подбадривал себя, ворочаясь в кровати, Объёмов, только непонятно... что я

буду с этого иметь? Перебрав варианты, он пришёл к выводу, что единственно возможный бонус для него – Олеся! Объёмов даже нашарил на тумбочке телефон, чтобы ей позвонить, но потом устыдился. О чём он, когда на кону... Россия! Да и Олеся была бы полной дурой, если бы после допроса не отключила телефон, не вытащила из него симку. А ещё у Объёмова неожиданно сложился сюжет для (сейчас такое безобразие входило в моду) рассказа «Тамань-II». Печорин не уехал по казённой надобности, а примкнул к контрабандистам, отбил дивчину у Янко, разобрался с конкурентами, создал настоящую морскую бандитскую империю. У слепого (Печорин его пожалел и приблизил к себе), как у болгарской Ванги, открылся дар предвидения. Он предсказал Крымскую войну и поражение России. Печорин тайно встретился в Севастополе с Николаем Первым, а потом...

Бред! Не мысль изреченная есть ложь, поправил Тютчев уставившийся в смутный и как будто слегка кружащийся потолок Объёмов, а жизнь изреченная есть ложь! Я переутомился, закрыл глаза, хорошо бы заснуть.

Но сон не шёл.

...Когда лёгкие шаги гэбистов и тяжёлые спецназовцев в коридоре стихли, Каролина и Олеся стали одеваться, обидно не обращая внимания на писателя Василия Объёмова. Он топтался между ними в позорных, купленных на рынке в городе Невеле (ближайший к его деревне райцентр) трусах, а они шуршали колготками, искали на полу обувь, равнодушно

но задевая его *объёмными* бёдрами. Их разговор напомнил Объёмову разговор контрабандистов из «Тамани».

«Сдурела? – спросила, защёлкивая бюстгальтер, Каролина у Олеси. – Зачем пришла?»

«Так он вырубился, захрипел, задёргался, думала, концы отдаст. Куда я? Они зайдут, а я с трупом, да?»

«Ладно хоть, живой, – согласилась Каролина. – Много ему накапала?»

«Да нет, – пожала плечами Олеся, – норму, чтобы встал и кончил. Он, наверное, больной. Или до этого принял».

«Ты же говорила, что с ней не общаешься, – зачем-то уличил Каролину в изречённой ранее лжи Объёмов, – она с мужем в Одессе, а ты к ним ни ногой».

«Ага, – откликнулась Олеся, – второй год сидит, козёл, без зарплаты. Кофейную машину, которую ты, мам, из Германии привезла, – повернулась к Каролине, – пропи! Сказал, чтобы я без денег не возвращалась».

«Не переживай, – махнула рукой Каролина. – Там в парке кафе закрывали, технику на улицу выставили, бери что хочешь. Надо было всё забрать и к вам на трейлере».

«Так это когда, – возразила Олеся, – сейчас негры и арабы... в момент».

«А муж что, – растерялся Объёмов, – знает про твои... проделки?»

«Х... знает, что он знает, – ответила Олеся. – Мне какое дело? Детей кто будет кормить?»

Объёмов, окончательно растерявшись, взял со стола паспорт. С фотографии на него мрачно уставилась... Каролина в белом парике и круглых выпуклых очках.

«Грибоедова, – пробормотал Объёмов, – она... потопок?» – К своему стыду, он запомнил, успел ли Грибоедов за короткую жизнь обзавестись детьми.

«Говорит, что по какой-то внебрачной линии, – забрала у него паспорт Каролина. – Позавчера приехала, ездит по области, осматривает усадьбы. Два раза у меня завтракала и ужинала. Образованная дама. Как начнёт про литературу, про деревья и газоны – не заткнуть. Рассказывала, что Грибоедов женился на этой, как её... грузинке...»

«Нине Чавчавадзе», – подсказал Объёмов. Это он помнил.

«Когда ей было то ли четырнадцать, то ли пятнадцать лет. Любил сидеть у камина и смотреть, как она играет с куклами. Он что, извращенец был, как его... педофил?»

«Враньё, – возмутился Объёмов. – Он был герой. Она всю жизнь по нему тосковала, отказывала женихам и умерла... от холеры».

«Анна Дмитриевна утром в Гродно с ночёвкой уехала, – продолжила Каролина. – Я как войска из окна увидела, сразу вниз, а на выходе уже документы смотрят. Ну всё, думаю, попалась и Олеську подвела, мы с ней вместе должны были... А ты, – с подозрением посмотрела на дочь, – зачем так рано пришла?»

«Думала, успею. Этот... боров, как фамилия... Залупан?..

Двести долларов обещал. Голос по телефону бодрый такой, а как увидела его...»

«Не расплатился?» – встревожилась Каролина.

«У меня всегда вперёд, – хмыкнула Олеся, – но с него надо было больше. Думала, расплющит пузом».

«Как к тебе попал её паспорт?» – Объёмов натянул спортивные трикотажные штаны. Мимолётно поймав в зеркале отражение, он подумал, что ему вполне подходит определение *баран*. Так сказать, производное между нищим безработным козлом – мужем Олеси – и похотливым боровом – детским поэтом из Молдавии Серафимом Лупаном, показавшим в Белоруссии своё истинное лицо.

«Легко, – нервно зевнула Каролина, – увидела, что он лежит на *ресепиене*. Она сдала на регистрацию, а забрать, видать, забыла. Пока дежурную в холле допрашивали, я цап – и в подсобку. А как фотографию увидела... Господи, это же я... – покосилась на Объёмова, – ну, лет через... десять. Взяла Олеськин парик, а очки один идиот в буфете на столе оставил. Напился, скотина, всё меня маринованными опятами соблазнял, торговать приехал из Великих Лук... Кому тут нужны его опята?»

«Подожди, – заторопился Объёмов, увидев, что дамы опасливо выглядывают сквозь дверной проём в коридор. – Почему вы пришли ко мне? Откуда ты знала, что я...»

«Лёшка сказал, – прислонила палец к губам Каролина. – Иди в девятьсот седьмой, он всё знает и не выдаст. Так он

сказал».

«Что знаю? Больше ничего не сказал?» – сел на кровать
Объёмов.

«Сказал: „Мужик в теме“».

«В какой теме?» – вскочил с кровати Объёмов.

«Понятия не имею», – ответила уже из коридора Каролина.

В третий – заключительный – день Международной научно-практической конференции, посвящённой современному состоянию русского литературного языка, участников повезли на автобусе в посёлок *Ивье*, где только что завершилось строительство нового аэропорта для малой авиации. Торжественное его открытие планировалось через две недели. Международная авиационная комиссия должна была оформить новому аэропорту сертификат и утвердить частоту для работы диспетчеров.

Белоруссия, рассказал по дороге сопровождающий (явно из научной национально ориентированной среды), в ближайшем будущем превратится в Мекку экологического туризма. Великое княжество Литовское, сердцем которого являлась Белая Русь, было самой экологически чистой, свободной, благоустроенной и культурной территорией тогдашней Европы. Именно в то время Франциск Скорина разработал основы европейской христианской философии. Но после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, развёл руками сопровождающий, с *белорусским ренессансом* было окончательно покончено. Чернобыльская катастрофа нанесла экологии Белой Руси последний и самый страшный удар. Но сейчас Белоруссия возрождается, возвращается к традиционным началам европейской Белой Руси.

– Не могли бы вы просветить нас насчёт этих начал? – прервала с ближнего сиденья политизированного историософа въедливая Анна Дмитриевна Грибоедова.

Каждый раз видя или слыша её, Объёмов вздрагивал и опускал глаза, до того настоящая Грибоедова была похожа на Каролину. Анна Дмитриевна замечала это и смотрела на Объёмова с недоумением. Ей было трудно понять причину его стыдливового смущения. А Объёмову было трудно перестать воспринимать Анну Дмитриевну как голую Каролину, обхватившую его крепкими жилистыми ногами. Мужик, приехавший в Лиду из Великих Лук торговать маринованными опятами и потерявший в буфете очки, сразу раскусил эту авантюристку! И ведь какую фамилию перехватила, запоздало негодовал, краснея, Объёмов – Грибоедова! Священную для русской литературы фамилию! Да в одной цитате из «Горя от ума» – *«Чтобы иметь детей, кому ума не доставало?»* – вся суть человеческой цивилизации!

Слегка похмельная (участников конференции угощали на славу) голова писателя Василия Объёмова шла кругом: настоящая, хоть и по боковой линии, Грибоедова – Анна Дмитриевна; Лжегрибоедова – Каролина; неведомый мужик, приехавший из Великих Лук в Лиду торговать маринованными опятами и соблазнявший ими Каролину. Интересно... Нет, строго осадил себя Объёмов, мне совершенно неинтересно, чем закончилось амурное дело с маринованными опятами. При чём вообще здесь грибы? Но тут же сквозь тонкую плён-

ку здорового смысла грибом выперло название авангардистской оперы безвременно скончавшегося композитора и музыканта Сергея Курёхина «Ленин – гриб». Следом припомнилась народная примета, что многогрибье – к беде и войне. Будто бы летом 1914-го народ не знал, куда деваться от грибов, а в сорок первом грибы строем пошли с середины мая. Гитлеровские танки в конце июня взяли в грибной распутице. Это был вещий знак, репетиция того, как они завязнут в настоящей распутице в начале октября под Москвой. В конце концов, и собирающаяся приструнить белорусского историософа Анна Дмитриевна Грибоедова увиделась Объёмову в образе... гриба на длинной тонкой ножке с двумя круглыми улитками (очками) на шляпке.

– Охотно, – между тем ответил Анне Дмитриевне историософ, – вот эти начала: экология, свобода, порядок, культура.

– Вы забыли про пятое начало – народ! – скрипуче отозвалась та, сверкнув очками. Улиточный гриб был явно (для самозванного историософа) несъедобным.

Осознав это, он сменил чреватую тему на бесплодную служебно-скучную:

– Аэродром построен для того, чтобы состоятельные клиенты из Европы могли легко и быстро на своих частных самолётах добираться до экологических жемчужин Белоруссии – её лесов, озёр и рек, а потом, наладившись отдыхом на природе, беспрепятственно возвращаться домой.

В автобусе писатель Василий Объёмов устроился рядом с молдавским поэтом Серафимом Лупаном. Седой, в тонком летнем костюме и свежей рубашке, при золотых часах, к тому же ещё, как выяснилось, депутат молдавского парламента, Серафим смотрелся олигархом, вздумавшим демократично прокатиться на экскурсию вместе с нищими литераторами.

Сейчас события двухдневной давности казались Объёмову каким-то нелепым сном. Когда он с тяжёлым сердцем пришёл утром завтракать, в кафе на двадцатом этаже распорядился улыбочивый паренёк, запутавший Объёмова пересчётом российских рублей в белорусские за сто граммов коньяка, не предусмотренного в оплаченном (уже не усиленном, а ослабленном) завтраке. Вчера вечером здесь была женщина, кажется, Каролина, осторожно заметил Объёмов. Паренёк развёл руками: «Я работаю в ресторане на втором этаже. Меня попросили её заменить: наверное, заболела».

В перерыве между заседаниями в центральной городской библиотеке имени Янки Купалы Объёмов озадачил Серафима (Фиму) Лупана неуместным откровением. Мол, снял с фонарного столба на автостоянке телефончик, позвонил какой-то Олесе, а та... не пришла. Фима благодушно улыбнулся в ухоженную седую бороду, никоим образом не осудив старого приятеля (они подружились сорок лет назад на всесоюзном совещании молодых писателей), но и промолчав о своих ночных при(зло?)ключениях. Он никак не походил на

человека, которого ночью откачала скорая помощь.

С давних времён Обьёмова изумляла и восхищала способность Фимы респектабельно и опрятно выглядеть наутро после самых диких и безобразных гулянок. Во времена СССР Обьёмов и Фима часто пересекались на писательских съездах, семинарах и днях советской литературы в разных областях и республиках необъятного СССР. После 1991 года размах подобных мероприятий резко сузился, утратил державную мощь, однако алгоритм их проведения остался прежним. Хмельная тень СССР всё ещё тянулась за писателями из России и их пишущими на русском коллегами из бывших республик, а ныне независимых государств. А может, этот алгоритм не зависел от того, при капитализме, социализме или феодализме (далее Обьёмов не заглядывал) существовало общество. «А вот у поэта – всемирный запой, и мало ему конституций», – ещё чёрт знает когда провозгласил Александр Блок.

«Мне нельзя иначе, – помнится, объяснил свой феномен Фима полуживому после ужина на базе отдыха „Долина нарзанов“ в Кабардино-Балкарии Обьёмову. – Детский поэт обязан быть чистым, красивым и добрым, особенно если он... пишет стихи о Ленине».

В автобусе Фима охотно прикладывался и давал приложиться Обьёмову к красивой серебряной фляжке с добрым молдавским коньяком. Приметливый Обьёмов заинтересовался эмалевым гербом на фляжке, разглядев в нём среди

стрел и сабель... два кривых в капельках крови клыка. «Герб рода графа Дракулы, – объяснил Фима, – его потомки заказали мне поэму». «Для детей?» – удивился Обьёмов. «Влад Дракула теперь во всех румынских и молдавских учебниках, – с едва заметной иронией, совсем как раньше, когда на Днях советской литературы, допустим, в Хакасии он читал на молдавском стихи о Ленине, улыбнулся Фима. – Пламенный борец за свободу Трансильвании против... русской тирании».

– Но ведь Русь тогда сама сидела под татарами, – напомнил Обьёмов.

– Ты забыл, – рассмеялся Фима, – Дракула был вампиром-долгожителем; есть версия, что он дотянул до девятнадцатого века.

Жаль, подумал Обьёмов, что не слышит Анна Дмитриевна Грибоедова. Она как-то неожиданно задремала, прислонившись головой к окну. Очки-улитки готовились соскользнуть с кончика носа, как с наклонного сучка. Самому ему не хотелось спорить с импозантным, легко переориентировавшимся с Ленина на Дракулу Фимой. Обьёмов даже засомневался: а вдруг это какой-то другой гостиничный боров чуть не задавил Олесю тяжёлым, как унитаз, пузом? И ещё: о Ленине ли читал в далёкие советские годы стихи Фима на молдавском языке в залах, где никто, кроме него, не знал этого (некоторые лингвисты утверждали, что он произошёл от облатной латыни) языка? Вдруг он просто материл вождя ми-

рового пролетариата и советскую власть, а доверчивые слушатели ему бурно аплодировали? А сейчас Фима – депутат молдавского парламента – рассказывает на встречах с избирателями, как дурил русских лохов...

– Зачем нас везут в аэропорт? – спросил у Фимы Объёмов, возвращая коньячную фляжку.

– Скорее всего, на них повесили заключительный банкет, – объяснил Фима. – Но вообще-то малая авиация – хорошее дело, за ней будущее. Надо посмотреть, какая там полоса.

– Зачем? – удивился Объёмов. – У тебя что, есть личный самолёт?

– Люди из Трансильвании раскопали интересные документы в монастырских архивах, – объяснил Фима. – Хотят видеть меня немедленно. Если полоса готова, они пришлют за мной самолёт. Два с половиной часа – и я в Брашове, в замке Дракулы.

– К чему такая спешка?

– Я спросил, – пожал плечами Фима, – они ответили: «Дракула всё делал быстро».

– Как Ленин, – ляпнул Объёмов.

– Даже быстрее, – усмехнулся Фима.

Откинувшись в автобусном кресле, глядя на аристократически прогуливающих по убранным белорусским полям аистов и народно путающихся у них под ногами грачей, Объёмов подумал, что все эти годы он недооценивал Фиму, не

придавал значения однажды вскользь произнесённой им по какому-то незначительному поводу фразе: «Жизнь – это результат». Сегодня результат был налицо. За Фимой потомки графа Дракулы были готовы прислать самолёт, а Объёмов на десятилетнем «додже» собирался пилить через всю Белоруссию в свой разваливающийся дом в нищей деревне Невельского района Псковской области. И аплодировали на конференции Фиме сильнее, чем Объёмову, почти как в советские времена, когда он читал в домах культуры стихи о Ленине. Особенно понравились местной и приглашённой творческой интеллигенции слова Фимы о том, что русский язык уходит, чтобы никогда не вернуться. Но мы, успокаивающе подмигнув Объёмову, смягчил угрюмый прогноз Фима, литераторы разных национальностей, жившие в СССР, обречены доживать с этим языком, как с хомутом на шее, потому что творили, существовали в его среде в свои лучшие годы. Нам поздно переучиваться. Мы – пленники, притороченные к стремени умирающего всадника на издыхающей лошади. Фиму, похоже, увлекла конная тема. Неужели держит лошадей, подумал Объёмов. Но следом за нами, продолжил Фима, идут поколения, которым русский язык не нужен. Они не будут его изучать даже не потому, что он для них генетически неприемлем как язык поработителей, а потому, что никто никогда не изучает язык проигравших и побеждённых. Когда народ теряет волю и энергию, язык вырождается, превращается в одолеваемого рассеянным склерозом, забывающего соб-

ственное имя старика-маразматика. У русского языка за пределами России будущего нет. Проблематично его будущее и в самой России – на территориях, населённых другими этносами. Но я, завершил выступление Фима, буду до конца своих дней любить русский язык, говорить на нём и верить в его победу, как верили в неё советские люди в сорок первом году! В разгромившей фашистскую Германию армии команды отдавались на русском!

Оживлённая дискуссия о печальной судьбе русского языка продолжилась на круглых столах. Объёмов, естественно, опроверг Фиму (тот, правда, был на другом круглом столе и не слышал), приведя в пример немецкий язык, интерес к которому в мире, особенно в Европе, стабильно растёт. Немцы что, не проиграли Вторую мировую войну, не пережили национальную катастрофу? Можно подумать, они сейчас осмелели? Нет! Безропотно принимают толпы беженцев, живущих за их счёт, лапающих их фрау и плевать хотевших на их порядки! Возражать Объёму взялся какой-то литовец, по всей видимости, потомок прибалтийских нацистов. Он заявил, что разница между отношением к немецкому и русскому языкам заключается в том, что немецкий народ не был сломлен, бился против всего мира до последнего, *заархивировав в душе* (так выразился этот литовец) *синдром отложенной победы*. Русские же в девяносто первом году, обладая самой сильной армией в мире, *сдались Западу без борьбы*. Поэтому, сделал вывод фашиствующий литовец,

русский язык – не только язык *проигравших и побеждённых*, но ещё и язык *сдавшихся*, то есть *втройне* позорный язык. Обьёмов запустил в литовца блокнотом, тот в него – открытой пластиковой бутылкой с водой. Бутылка до Обьёмова не долетела, как из шланга веером окатила *круглый стол*. Больше всех досталось молодящейся украинской поэтессе. С неё потекла косметика. Поэтесса завизжала как резаная. *Модератор* оперативно закрыл дискуссию. Подготовившие выступления участники возмущённо задвигали стульями. Литовец как-то незаметно исчез из зала. Позже выяснилось, что он торопился в аэропорт на рейс... в Москву.

Сделав вывод, что больше его никогда не пригласят в Белоруссию ни на одно литературное мероприятие, Обьёмов странно успокоился, перестал гоняться за белорусскими начальниками со своими книгами, проникся неожиданной внутренней свободой. Следом за ощущением свободы к нему вернулось (как библейский блудный сын после долгого отсутствия) достоинство. Обьёмов перестал робеть, отважно провозглашал на банкетах тосты за русский язык и великую русскую литературу, потребовал у организаторов конференции карту дорог Белоруссии, которую ему тут же испуганно принесли. Уже и строгая Анна Дмитриевна Грибоедова одобрительно поблёскивала в его сторону очками-улитками, а украинская поэтесса уточкой отходила от него подальше. В последний день конференции писатель Василий Обьёмов, можно сказать, был счастлив, как человек, ставший самим

собой.

Гостей принимал директор аэропорта. Он сообщил, что подлётное пространство контролируют специально обученные соколы. Один такой сокол действительно стрелой пронёсся высоко в небе. Его преследовала стая верещащих ласточек и явно не выдерживающая темпа погони ворона. Сведущий в орнитологии директор объяснил, что молодые хищные птицы не сразу осознают свою природу, первое время робеют нападать на других птиц, чем те пользуются, атакуя неопытных хищников большими стаями. Но потом, успокоил директор, всё становится на свои места. Объёмову стал ясен план вороны. Когда гонимый ласточками юный сокол обессилеет, подтянувшаяся ворона добьёт его чугунным клювом, а заодно и полакомится свежатиной.

Участников конференции сводили в дубовую рощу, где протекала небольшая речка, показали бобров, устроивших там свои *хатки*. Потом провели по взлётно-посадочной полосе. Она оказалась выше всяких похвал – прямая, ровная, без единого шва, как путь праведника в рай. Потомки Дракулы могли смело присылать самолёт в Ивье.

Прощальный ужин, как и предсказал опытный Фима, организовали в светящемся металлом и серебристым пластиком зале нового аэропорта. Когда солнце зашло, над аэропортом образовался туман. Сидя за столом между Фимой и

Анной Дмитриевной, Объёмов вдруг вспомнил другой аэропорт – столицы Словакии Братиславы.

...Пятнадцать лет назад тоже ранней осенью он возвращался из Вены со *съезда русскоязычных литераторов* в Москву через Братиславу. Он попал на этот съезд случайно. Никто его, естественно, не приглашал. Русскоязычные литераторы (в основном выехавшие в Европу по брачным объявлениям, но не нашедшие там счастья дамы и натурализовавшиеся неудачливые бизнесмены) понятия не имели о существовании писателя Василия Объёмова. Как, впрочем, и он о рассеянных по Европе русскоязычных литераторах. Но съезд проводился на российские деньги по линии то ли МИДа, то ли фонда «Русский мир». Кто-то из ожидаемых гостей в последний момент не смог. Объёмов удачно подвернулся под руку одному своему знакомцу – бывшему комсомольскому поэту, а ныне начальнику департамента в Министерстве культуры. Он и отправил его в Вену, правда, ограничив в командировочных. Возвращаться Объёмов почему-то должен был за свой счёт.

Обратный билет из Братиславы стоил дешевле, чем из Вены, и Объёмов решил сэкономить. За пять евро доехал на автобусе, не заметив границы, от венского автовокзала Erdberg до братиславского letisko, который местные славяне называли по-простому Иванкой.

Пока Объёмов (он прибыл с большим запасом времени) бродил по Иванке, искал табло, интересовался номером ре-

гистрационной стойки, покупал в duty free (опять же из экономии) бутылку иорданского *арака*, стоившую дешевле виски и даже местной сливовицы, на letisko опустился непроглядный туман. Мир за пределами аэропорта как будто перестал существовать. Фары машин как тупые спицы скользили по непробиваемому белому полотнищу. По громкой трансляции объявили, что в связи с нелётной погодой аэропорт закрывается... на восемь часов. Машины, мерцающая стоп-сигналами, красными бусами повисли на шее ведущего в город шоссе.

Letisko стремительно опустел.

Объёмов в бешенстве (как гранату) выхватил из сумки бутылку. Он взял в duty free последнюю – из холодильника. Охлаждённый и встряхнутый *арак* цветом и видом был один в один с поглотившим letisko туманом. Лечить подобное подобным, вспомнил Объёмов бессмертный афоризм, напряжённо размышляя, чем будет закусывать пятидесятиградусный арабский самогон.

После шибанувшего в нос анисом *арака* настроение улучшилось. Даже некая прелесть открылась Объёмову в сидении в братиславском letisko, в то время как многие его собратья по перу и думать не могли о путешествиях по Европе. Достав из сумки книгу Иохима Феста «*Адольф Гитлер*» с чёрно-белой фотографией фюрера на обложке, Объёмов переместился поближе к окнам, где было светлее. Не то чтобы его сильно интересовал *преступник номер один*, книга слу-

чайно попалась на глаза, когда он собирал дома сумку. Тут обязательно будет *про Вену*, рассудил писатель Василий Обьёмов, задумчиво взвешивая на руке солидный том. Его всегда удручали лишние вещи в багаже.

Он начал читать Феста в самолёте, но быстро заскучал. В Вене вообще хотел оставить «*Адольфа Гитлера*» в гостиничном номере, но постеснялся. Люди из отеля могли подумать, что он случайно забыл важную для него книгу, и передать её организаторам съезда. Те – дальше по цепочке в российское посольство. Там бы начали выяснять, кто такой Обьёмов и как он попал на съезд. Книгу, понятное дело, ему бы не вернули, а вот ненужную известность, как *фашист*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.